

ГДЕ МОЙ ДОМ?

Очерки

1920 – 1923

ТОЛЬКО

Ни радости цветистого Каира,
Где по ночам напевен муэдзин, —
Ни Ява, где живешь среди руин,
В Боро-Будур, Светильник Белый мира,

Ни Бенарес, где грозового пира
Желаешь Индра, мча огнистый клин
Средь тучевых лазоревых долин, —
Ни все места, где пела счастью лира, —

Ни Рим, где слава дней еще жива,
Ни имена, чей самый звук услада,
Тень Мекки, и Дамаска, и Багдада, —

Мне не поют заветные слова, —
И мне в Париже ничего не надо.
Одно лишь слово нужно мне: Москва.

БЕЛЫЙ СОН

1

Вот уж несколько дней с парижским небом что-то случилось необыкновенное. Я люблюсь на снежные белые крыши, прохожу по хрустящему снегу, ломаю тонкие льдинки. И не-

жно-молочная даль своей мглой говорит о силе снега, о внутреннем колдовании зимы. Париж хорош всегда, а облеченный в необычное, он чарует особенно. Лица проходящих женщины дышат торжеством, точно это они набросили такую подвенечную вуаль на зримое.

Но я знаю. Это не надолго. Не всякий наряд умеет носить парижанка, хоть во многих она хороша. Этот наряд с нее спадает, потому что он не для нее. Много у нее и силы, и прелести, но не для нее эта чара, моя северная единственная святыня снега и жуткий трагизм льда, то тихий, то звонкий, но всегда ворожащий.

Моя мысль уходит далеко. Туда, в белую Москву и подмосковные места, где мне было трудно, как никогда, но где душа моя пела, где в жестокой раме единственных судьбинных испытаний я терзался, я изнемогал, но где душа моя пела.

Тринадцать месяцев тому назад. Лютый зимний холод. Подмосковное местечко Н., все занесенное снегом. И березы, и дубы, и липы, и ели в белой бахrome. Дома холодно. И, как ни морозно на дворе, надеваешь рваную шубу и идешь греться среди снежных пространств, усыпанных алмазами, покрытых осыпью хризолитов, на которые смотришь — и вот цветной сон, голубой и алый, и белый завладевает через глаза сердцем, и душа уходит в мир, где нет ни холода, ни тепла, а лишь цветистые видения и ткущая сила воспоминаний и надежд.

Но прогулка прогулкой, а мне нужно сделать дело, довольно трудное и безотложное. В доме нет воды. Водопровод, снабжающий все дома местечка водой, замерз. Ни в одном доме нет воды, кроме двух домов, при которых есть колодец. Туда и ходят за водой все. И колодцы не всегда в силах всем дать воды. Приходится ждать, пока снова, без конца вздымая и опуская спасительный рычаг, вызовешь подъем благодетельной влаги. В одном колодце вода мутная и пахнет болотом. Я туда не хожу. В другом вода хорошая, всегда свежая, но нужно, — это я сосчитал не однажды, — качнуть тридцать или сорок раз, прежде чем вода начнет течь, и нужно целиком качнуть девяносто или сто раз, чтобы ведро наполнилось до краев. Если же, не наполнив ведра, вздумаешь отдохнуть, вода уходит вниз, и нужно снова качать и качать, как-будто этой предварительной работы не было.

Мое сердце расширено. Такая работа совсем не для меня. Но об этом не приходится думать. Воды нет, а еду приготовить нужно. Та, кого я зову Колибри, бьется около непокорной печки, потому что сырые дрова не загораются. Девочка моя, маленькая поэтесса Мирра, оцепенелая от голода и холода, лежит в постели. Я беру два пустые ведра, — у нас только одно, но, спасибо, хозяйка добрая и одолжает еще другое, — принимаю небрежно-важный вид и иду за водой. Я радуюсь, что приходится идти за водой утром, — там недалеко от колодца собачья конура; я по природе своей — кошка и редко люблю собак, о чем собаки осведомлены своим чутьем и наблюдательностью и отвечают мне сообразной взаимностью, иногда ведущей к осложнениям, — но днем собака привязана, и, враг цепей, я благословляю ее цепь. Я даже не смотрю в ее сторону. Я мурлычу про себя какую-то неопределенную песенку, ставлю ведра и начинаю качать.

Все же, это довольно трудное занятие. Ну-ка, еще, еще. Я вспоминаю народный заговор на тридцать три тоски и загадываю число тридцать три. Превосходно. На тридцать третьем взмахе тонкая струйка с успокоительным звоном падает на дно ведра, и остальная работа не так уже трудна. Одно ведро готово. Горе, что надо упустить воду. Но, если бы мне кто и подставил тотчас второе ведро, не хватит силы на столько взмахов подряд. И руки замерзли. Я вынимаю их из перчаток, отогреваю дыханием, снова надеваю перчатки, снова принимаюсь качать.

Но второй раз колодец менее великодушен и не откликается на загаданное число. Тридцать пять, сорок. Нехорошо. Сорок два — вода течет, а я радуюсь на то, что и в данном случае со мной символика: ведь в Древнем Египте на суде Озириса число судей было сорок два.

Однако, почему-то сегодня я очень устаю. Может быть, это оттого, что я еще ничего не ел. Я смотрю с мучением на свое второе ведро, которое никак не хочет наполниться до краев. «Ну, пожалуйста, пожалуйста», говорю я ему, как будто это от него зависит, чтоб я перестал задыхаться, чтоб сердце мое укротило бешеную свою пляску. Девяносто восемь. Сто. Наконец.

Я почти падаю на сруб колодца, и теперь, когда не нужно больше делать усилий, я издаю громкий стон и повторяю его

несколько раз. Так легче, но мне страшно, что кто-нибудь в чужом доме услышит мой голос и выйдет посмотреть, что там такое. Я замолкаю. Тяжело дышу. Вот уж и легче. Я беру ведро, я положительно горд и счастлив. Обрызгивая себя и справа, и слева, я начинаю свое обратное шествие, но через каждые две-три минуты осторожно ставлю ведро на промерзлую дорогу и отдыхаю. До дома мне почти полверсты.

Снежинки играют. Пустынно и бело кругом. Хорошо в человеческой душе, когда она спешит к другой и несет ей что-нибудь благое. Сейчас меня будут жалеть. А я буду любить и жалеть ту, которая жалеет, и еще тех желанных, которые далеко, с которыми я разлучен.

2

Я сижу в своей комнатенке у стола, на котором в стройном порядке лежат мои любимые книги. Их не так много, но каждая говорит с душой. Мудрость Индии, «Веды», мудрость Парсов, «Зенд-Авеста», маленькая книжечка, отрывки мыслей лучезарного Гераклита, большой том Евангелия в подлиннике, на этом странно волнующем, неправильном и живописном греческом языке, большие тома драм Кальдерона. Испанская речь кажется вдвойне горячей и поющей в этой холодной моей малой храмине. Я смотрю на раскрытую страницу «Волшебного Мага» и я смотрю также на морозное окно.

Есть сказочная сила в морозных узорах окна. За стеной слышен кашель той, которая мучается около непослушной печки. И мне бесконечно жаль ее, но я не могу помочь. Я знаю, что и она, и мой ребенок, и я сам, мы в снежном царстве зимы и, голодные, стынем, и в царстве безбрежного злосчастья, где убивают и умирают. Все это знаю и стыну. Но цветные морозные узоры, играющие перед моими тоскующими глазами и отделяющие меня от безмерного белого мира, что там за окном, говорят мне о призрачности всего, что я переживаю, и о действительности чего-то иного, большого, безмерного, поют о независимой красоте мироздания. Я вижу в этих узорах причудливые леса; оттуда все исходит и туда все возвращается. Я чувствую, как высокое Солнце идет своим путем, далеким от моих маленьких дорог. Я знаю, что,

если я верю в путь Солнца, тогда и мои маленькие дороги совпадают с этим великим путем. И не холод стынущего тела я слышу, а чувствую, как мысли мои полны цветных узорных голосов.

Мой взгляд падает на испанскую страницу. Люцифер, ниспавший с неба и принявший человеческий лик, говорит Киприану:

Si, que de una patria soy,
Donde las ciencias mas altas
Sin esturdiarse se saben.

Да, я из родины такой,
Где тайну знаний высочайших
Без изучения познают.

Кто видел Небо и видел Преисподнюю, знает все.

Хорошо человеческой душе, когда она несет другой душе что-нибудь благое. Пусть это будут только два жалкие ведра воды. И быстрые, хотя и окоченевшие, пальцы начинают писать. Сцена за сценой, я перевожу «Волшебного Мага». И тень Кальдерона усмешливо утешает меня, что не только мои русские стихи верно передают его испанские чувства, но что также некий человек даст мне за эти страницы какие-то монеты, а я на них куплю у скупых и прижимистых мужиков некие земные поросли и не помру с голода и накормлю голодных.

3

Но два ведра воды. Вы думаете, их хватает надолго, когда нужно и готовить еду, и пить, и мыть посуду, и самому быть чистым?

Лунный вечер, а воды в доме опять нет. Моя двенадцатилетняя поэтесса, поевши, совершенно воспрянула духом и убеждает меня снова пойти за водой, на этот раз вместе с ней. Я беру свои классические ведра, она берет большой кувшин, и мы идем. Я радуюсь и тому, что мы щебечем, весенней прихотью наших душ опровергая окрестную зиму, и тому, что моя девочка любит собак, — следственно, и они ее любят, следственно, спущенная с цепи собака не раздерет на мне последние прикрытия моего тела.

И действительно. Вот этот пес, который не любит ни кошек, ни нелюбящих его людей. Он обнюхивает ветром подбитую, детскую шубейку и самым учтивым образом повизгивает и виляет хвостом. Тем временем я овладеваю холодным рычагом, но, так как около меня живое, милое существо, я не считаю взмахов руки и не играю в числовую символику.

«Второе ведро — я», — кричит ревнивый детский голос.

«Второе ведро — ты», — соглашаюсь я охотно.

И мы идем, злополучные водоносы, под высокой Луной, среди оснеженных елей. И мы снова возвращаемся к колодцу, чтоб накачать воды уж и назавтра.

Я тащу свои ведра. Она тащит свой кувшин. А чтоб нам не было скучно, мы превращаем небо и землю в сказку. Луна глядит из огромного белого облака. «Смотри», говорю я, «это глаз кита». — «А ниже большая змея», говорит она. — «Они плывут», говорю я. — «Они дерутся», говорит она со смехом.

Мы минутку молчим.

«А мы сами едем в кибитке», говорит девочка. И вот именно этого, только этого слова хотела моя душа. Она в одну секунду раскрылась от этого слова: «в кибитке».

Несколько мгновений молчанья и белой зачарованности, и я говорю: «Малютка, я тебе скажу стихи».

Она идет и ласково слушает. И оба, ступая осторожно, мы стараемся не расплескать воду. И оба мы в эту минуту так любим друг друга. Лунный призрак, она слушает. Лунный призрак, я говорю.

Луна глядит, как глаз кита,
Который, жутко-белый,
Плывет и лоскутом хвоста
Бьет в дальние пределы.

И нет, не бьет хвостом тот кит,
А, в воздух упирая,
Плывет, и глаз его, как щит,
Среди морей без края.

Ты думал, это облака
Плывут лазурью ночи.
А то китовьи лишь бока,
И с ними даль короче.

Я еду-еду. Мерзлый вид
Налево и направо.
И виснет круглый сталактит
Безмерного удава.

Схлестнулся с белым он китом,
И вгрызлось чудо в чудо.
Расстался кит с своим хвостом,
И сдавлен змей, как груда.

Молчу. Смотрю. И нет кита.
И больше нет удава.
Лишь голубая пустота
И золотая слава.

ФАКЕЛ В НОЧИ

Я живу среди чужих. Уже семь месяцев я живу в Париже и люблю этот красивый город, независимо от его теперешних жителей. Мне нравятся также и жители его. Приветливые, умные, совсем не обременительные и не обременяющие собою иностранца. Я жил в Париже годами, и у меня есть здесь добрые знакомые. Есть и такие, что мы считаемся друзьями. Если я захочу, я могу пойти в гости к лучшему французскому санскритологу, или к превосходному знатоку древнего Египта, или к французу, безукоризненно говорящему по-русски и влюбленному в Гоголя, или к двум-трем лучшим французским поэтам. Меня встретят ласково, со мной будут говорить учтиво и умно. А изучатель Гоголя даже будет говорить по-русски. Но отчего-же, когда я уйду от этих своих друзей, за мной закроется дверь, совсем не резко и не громко закроется дверь, а в ту же секунду я услышу в душе, что вот в этой моей тоскующей душе захлопнулись целые ворота?

Между нами не может быть настоящего разговора, ибо нет соучастия душ. Я знаю французский язык, французские особенности, французское искусство, подробно знаю французскую литературу. Они не знают того же русского. И быть может, только тот один, который любит Гоголя, поймет часть меня, но не подойдет ко мне вплоть, потому что между нами волны событий, океанская буря разнородности.

Я рад, что со мной вежливы. Но не нужен я парижанам низачем. А нужны ли они мне, об этом я молчу, из скромности и вежливости.

Здесь есть русские. Мне говорят, их много. Кто говорит, их тридцать тысяч, кто утверждает, что их целых сто тысяч. Допустим, что их тридцать тысяч. Кто они эти десятки тысяч людей, для которых, как и для меня, первые слова, услышанные в детстве от родной матери, были словами красивейшего могучего русского языка? Это — дружное самосознающее себя целое или арифметическая сумма? Если целое, в чем же оно проявляет себя? Не в том ли, что лучшие писатели, поэты и художники, перекочевавшие из безжалостной русской действительности в Париж, живут здесь как полунищие, нуждаясь в самом необходимом и не находя применения для своего гения, таланта и трудолюбия?

Нет, здесь целого нет, а есть лишь арифметическая сумма, причем слагаемый — с одной стороны скромные единицы, с другой — единицы с уважительным количеством нулей по правую сторону. Взаимо-беседа вряд ли тут возможна.

Я хотел привести несколько примеров здешнего своеобразия душевной арифметики. Но это удушливо.

Представители честного русского мышления и свободно-го русского творчества систематически истребляются в современной России. Прямо и косвенно их просто-напросто там изводят. Не такими свирепыми средствами, но прямо и косвенно их изводят и здесь. Коммунистическая блокада творческой мысли — там, буржуазная блокада художественного творчества — здесь.

Когда безжалостный Старый Год кончился и на смену ему пришел бессердечный Новый Год, и потом, все эти томительные недели, когда меня преследовало ощущение пустоты и бесполезности изгнаннической жизни, меня ласково преследовало также одно воспоминанье, три благих призрака в раме жуткой зимней ночи и неоглядной оброшенности. Три человека, которых я не знаю и не узнаю никогда, но которые одну минуту были со мной человечески добрыми. Три солдата-красноармейца.

В том подмосковском местечке Н., где я провел часть зимы в 1919-м году и где я погибал со своими от голода и холода, был однажды особенно тяжелый вечер. Та, которая делила со мной все случайности жизни и уже успела перенести

три воспаления легкого, несколько часов подряд безуспешно раздувала печку, чтобы согреть промерзшие комнаты и приготовить еду. Но сырые дрова не хотели гореть, и согреться было нельзя, и поесть было нечего, и час за часом проходил в бесполезной борьбе с непослушным огнем, и мучительный кашель той, которая имела мужество не жалеть себя, терзал меня нестерпимо, терзал меня тем более мучительно, что я хотел помочь и был бессилён помочь. Если женщина не может раздуть огонь в печке, мужчина ли это сумеет.

Еще, и еще долгие усилия. Еще, и еще срывный кашель и тоскующие вздохи. Я подхожу и говорю:

«Брось, все равно ничего не выйдет. Мы можем сегодня обойтись без еды».

«Мы можем», рыданием раздается ответ. «Девочка не может, она должна поесть».

Девочка давно уже, истомившись ожиданием и голодом, легла одетая на постель, чем-то прикрылась и дремлет.

«Мама», лепечет она в полусне, «брось. Я не хочу есть».

Мгновенье молчания.

«Мама, скоро будет готова еда?»

Мать бессильно садится на пол около тлеющих, но не горящих дров, и заливается долгими безмолвными слезами.

Я делаю несколько шагов в этой холодной полутьме и чувствую, что верно так ходят лунатики. Я чувствую также, что нужно чем-то на время пресечь пытку. Я надеваю шубу и шапку, невнятно произношу какие-то утешения и как пьяный выхожу из дома.

Что ведет иногда человека, как не тайная благая сила, о нем заботящаяся? Все кругом спало. Пойти не к кому. Уже ночь. Зимняя стужа. Белесоватая снежная тьма. Хоть темно, а все же что-то видно, не только громады оснеженных елей. Там, вдали, разве нет чего-то, что зовет?

Эти последние слова, только что мною сказанные, суть поздний теперешний домысел. Тогда я просто пошел вперед, как заводная кукла, с несознаваемой, но чувствуемой, мгновенной радостью. Там вдали был огонек, мерцавший и пропадавший под ветром и снова загоравшейся.

Я дошел до огня. Это около замерзшей водокачки, охраняя ее от неведомых злоумышленников, три солдата развели костер и грелись и молча смотрели в прыгающее пламя.

Не знаю, откуда у меня явились те слова, которые я тогда сказал, но, вплоть подойдя к костру, я им сказал:

«Товарищи, хозяйка моя сидит сейчас и плачет около печки, и никак не может развести огонь. Дайте мне какую-нибудь головню от вашего костра».

Солдаты молча посмотрели на меня. Один опустил голову, как бы чуждаясь меня. Другой сказал: «Да берите, товарищ, любую». Третий встал и, разгребая какой-то палкой костер, вытащил полуторааршинную, лишь на половину обгорелую, пылающую доску, и сказал: «Вот, эта лучше всех».

«Вы курите?» спросил я. «Курю». Я вынул из портсигара две остававшиеся там папиросы и протянул минутному своему другу.

«Нас трое», сказал он.

Но моя левая рука уже доставала из кармана шубы коробку, где было несколько папирос. Я их отдал все, и глаза всех троих светились благодарностью.

Я шел по пустынной снежной улице, и в белесоватой ночи ярко пылал под ветром странный мой факел. Дикарь, впервые несший к себе огонь, вряд ли был счастливее меня. Через время, показавшееся мне минутой, печка пылала, и еда была готова.

Кто они, эти трое, и что с ними сейчас? Угнали ли их на один из бесчеловечных фронтов и они давно уже убиты? Или они — в злой ткани, которую соткали и ведут они, но не они?

Не знаю. Но живы они или мертвы, мое сердце чувствует к ним только братское устремление.

ЗАВТРА

1921.VI.24

Завтра минет ровно год с того дня, как я простился с моей родной Москвой. 25-го июня 1920-го года я уехал, через Петербург, в Нарву и в Ревель. Полный круг из двенадцати месяцев. Я прожил месяц в Ревели. Я узнал там, что Европа наших дней — не та свободная благочестная Европа, которую я знал целую, достаточно долгую, жизнь, а исполненная духа вражды, подозрений, перегоронок, преград, равнодушная, бездушная пустыня, без духовной жизни, без вольного гения, кото-

рый озарял бы жаждущую душу неожиданным новым светом. Я ушел из тюрьмы, уехав из Советской России, и конечно, в сравнении с тем невероятным Сатанинским царством, которое представляет из себя Россия текущих дней, Европа, начиная ее хотя бы с Эстонии, царство благословенное. Но это только на те дни, которые нужны замученному человеку, чтобы опомниться после трех лет невероятного кошмара. Душа хочет больше, чем чистое, сытое тело и основные данные уравновешенной, внешне свободной жизни. Она хочет высокой правды и неустанной пряжи творческого духа, она хочет чистого воздуха доверия и полетных созиданий. Где они? Их нет. Целых шесть лет люди убивали друг друга, хитрили, лгали, возвещали великие обещания, из которых ни одного не исполнили, созидали то тут, то там неправосудные отдельные богатства, превращая убийство и грязь в круглые капиталы, и, без конца, без конца пороча слово недостойным его употреблением, без конца, без предела уходили и уходят в марево духовного оцепенения, в обостренье звериной вражды — страны против страны, народа против народа, класса против класса, мысли против мысли, человека против человека.

Изойдя из проклятой берлоги, где дьяволы мучают всех, кто на них не похож и не хочет походить, я пришел к людям, которые забыли, сколько достойной радости в том, чтобы помочь другому и встретить приходящего с светлым доверчивым лицом.

Кто скажет одно слово: «виза», тот скажет «тюрьма», тот скажет «поднадзорный», скажет «прочь», скажет «издевательство». Он скажет еще много оскорблений, человек, имеющий неправосудную возможность требовать у меня визы, у меня, у свободного человека, к которому этот, нового образца, плантатор возможностей подходит с арапником в руке.

Первый мой шаг в нынешнюю Европу был ознаменован хлопотами о визах. И если Франция тотчас же, через благую весть телеграфа, гостеприимно раскрыла мне свои двери, Англия сделала полицейское лицо и убила во мне желание ехать в эту, когда-то мне желанную, страну, а малоумный немецкий консул города Ревеля, пообещав дать мне визу, в последнюю минуту чего-то испугался, налгал мне, и когда очередной парход отбыл в Штеттин, в нем остались четыре, незанятые, мной оплаченные, койки, и в улетающем дыме этого корабля

развеялись мои 20 000 эстонских марок, добытые, можно себе представить, с какими трудностями. А через несколько часов после отплытия парохода один мой приятель случайно познакомил меня с находившимся тогда в Ревеле вице-президентом германского рейхстага, Вильгельмом Дитманом, и этот честный добрый человек, узнав о моем злополучии, тотчас подошел к телефону, разобрал консула, сказал ему, что он слепень, не умеющий различать то, что у него перед глазами, и приказал ему тотчас же дать мне визу. Виза тотчас и была мной получена — через шесть часов по отбыли моего корабля, а следующего пришлось ждать еще две недели. Нужно было соединение двух таких имен, как Бальмонт и Дитман, чтобы произошло звездоносное ниспадение с невозможного неба того дьявольского уродца, который называется женским именем Виза. Сколь удобно и легко, значит, существовать путешествуя русским, лишенным возможности создать столь планетарное событие. Это было первое мое ознакомление с новой Европой, не умножившее моей нежности к ней. Пришел из берлоги — ну, и будь доволен всякой непотребностью, которую ты встретишь на пути.

Я встретил много на пути за эти двенадцать месяцев. Я встретил столько, что должен пересмотреть целиком свой основной взгляд на человеческую природу, взгляд целой жизни. И вижу, что или вся эта жизнь была сновидением простодушного человека, упорно видящего только свой светлый сон, или же за эти чудовищные несколько кровавых лет человеческая природа по существу опрокинулась, извратилась, и душа человека умерла; одни тела, слепо-телесные, блуждают по земле, дожидаясь и своей смерти, и каждое говоримое слово есть ложь, и каждая благая улыбка — обман.

Но почему я говорю об этом? Прожив полстолетия на земле, я никак не разучусь, говоря, говорить правду и, слушая людей, я никак не могу перестать верить их словам. Да, такова моя судьба. И, тысячу раз обманутый, я хочу снова верить, и не верить не могу. Леопарди в своих строках «*A se stesso*» «К себе самому», сказал, обращаясь к собственному сердцу: «*Assai palpitasti*» «Довольно ты билось». Но я никогда не скажу этих слов своему сердцу. Оно просто однажды перестанет биться.

Сейчас оно бьется любовью к покинутой. Я сдвигаю свою мысль покров чудовищности, закрывший мою желан-

ную, и вижу ее так, как я ее хочу видеть, как видел ее целую жизнь, как ее люблю.

Долгий колокольный звон. Спокойный вечер. Сейчас, высоко над моим окном, пронзительно свистят, в веселом лете, стрижи. Они так же свистят и носятся в бешеном полете и там. В желанном там — куда я не могу добраться. Я вижу ушедших в невозвратный путь. Они смотрят на меня честными глазами, и в этой душевной честности безграничная ласка. Благой труд был ими выполнен, и колосья, ими взрощенные, все еще золотятся и шелестят, они не могут быть убиты ничьей рукой.

Женщина с ликом Византийской царицы, девушка, делившая со мной первые девические зори, смелый поэт, с которым мы носились между звезд, верный друг, случайный прохожий, заговоривший со мной звучным радостным голосом, работник, свершающий свою работу, — я вижу вас отсюда, через дали пространства и времени, я вижу вас ясно и четко, хотя в глазах моих дрожат слепящие меня радуги, возникшие не из капель дождя.

Завтра. Настанет ли когда-нибудь настоящее завтра, и кто-то скажет: «Здравствуй. Жизнь вернулась».

Завтра минет год, как душа моя разлучилась с телом. Сегодня, засыпая, я буду молиться, чтобы хоть эту одну только ночь я спал спокойно и увидел во сне, что это — воскресенье, и я в России.

ГДЕ ПРАВДА?

В воздухе, изломанном бурей, все очертания, утратив обычное свое состояние, неверны, изменчивы, и ведут чувство и мысль по новым путям. Облако не облако, а туча. Рушится в небе изорванная серая стена. Из расщелин этой плывущей стены вырываются водопады огня и скаты воды. И если облако баюкает мечту, грозная туча пробуждает всю душу к новой жизни, в которой страх и пляска, ужас и восхищение, песня и вопль существуют в одной нераздельности.

Ветки деревьев, во время грозы, не ветки деревьев, увешанные гирляндами и кружевами зеленых листьев, а бешено переплетающиеся змеи, или кривые копья, палицы и бумеранги странных древесных духов. Даже камыш, под грозой, прини-

мает особо воинствующий вид и шуршит не с таинственным зловещием, а с явной угрозой. Даже малые побеги травы, эти невинные изумрудные нити и ленточки, создают зыбь, которая похожа на безмерные бока куда-то уползающего удава.

Гроза прошла. Дождь пролился. Воздух освободился от долго и трудно готовившихся колдований зноя, испарений, удушья и предчувствий. Воздух прохладен и успокоенно чист. Ветви деревьев свежо ароматны. Зеленая трава, цвет надежды и залог безмерной жизни, зовет к веселью детей и стада. Отдельные капли, качая в себе на мгновение вселенскую радугу, падают с листьев и с крыши дома; они падают вниз, чтоб утонуть в земле, поящей корни, они падают вниз, чтобы сказать глазам и сердцу о связи высокого с тем, что внизу, — чтобы дать счастье краски, чтобы дать радость малого звука, чтоб шепнуть безглагольно, что есть и веселые слезы.

Как хорошо явление грозы в природе, — как оно ужасно и бесчеловечно в мире человеческом.

Революция — гроза. Не я ли сам тоже говорил это? И я? Да, и я сказал эту неверность не однажды. Но сердце мне говорит теперь, что это неверно. Ибо гроза приходит и уходит, осиянная в начале и конце изломным огнем и тысячецветною радугой. Гроза всегда приносит утешение и правду новой жизни. Никакая революция не дает ничего, кроме того, что было бы в свой час, и в недалекий час, достигнуто и без нее. А проклятия, которые всегда приводит с собой, и за собой, каждая революция, неисчислимы. Они, как те уродливые чудища, что вырвались из раскрытого сундука злой колдуньи. Они неистребимы, как полчища саранчи, которую не убьешь цепами, не отгонишь молитвой, не расстреляешь пушками, не заговоришь волхвованьями. Они неисчислимы, как песчинки убивающей пустыни, из которых желтоликие дьяволы крутят веревки и удавки для утопающих в прахе обезумленных караванов.

Брат, предай брата. Сын, убей отца. Муж, покинь жену. Эти заповеди — малая, малая доля тех отравных выдыханий, которые ползут вот, и по моей стране, оттого что и я, малая песчинка, зазывал с целым полчищем безумных пришествие насилия, во имя гибели насилия, пришествие умалишенности, во имя торжества разума, пришествие лезвия, во имя пролития злой крови, как-будто не одной солнечной кровью наполнены жилы всех людей, как бы они ни заблуждались.

Из пролития крови всегда возникнет лишь новая пролитая кровь. И будет она теперь перекидываться и проливаться, то справа налево, то слева направо, и опять налево, и снова направо, пока, никем не слышимый, но над всеми властный, голос Судьбы не скажет: «довольно».

Смотря в честные глаза ребенка, который из детства завтра уйдет в сознательность, я всегда скажу: «Не верь насилью ни в каком лице. Есть пути духа, которые более властны, чем нож и меч».

Дважды и трижды рассудив с своей душою свою жизнь, я знаю, что никогда более я не смогу поверить ни в какую революцию. Я их видел три, и мне довольно. Три тысячи раз, быть может, я видел таинство грозы в природе, и каждый раз оно было цельно, правдиво и зиждительно. Три раза я соприкасался с грозой человеческой, и был в ней не только зрителем, и трижды я видел, что после нескольких часов гневной правды выползали из недр человеческого духа отвратительные чудовища, изготовители гроз, нарочитые их устраиватели, углубители распада, лжецы, более всего любящие неправоусудную власть, основанную на крови, слепоте и лжи.

Празднества крови истошат свою сатанинскую силу. Какую же новую песню, в день радуги, я спою о правде и жизни?

Быть может, я не спою никакой. Но ребенок, который смотрит честными глазами, поет тогда песню о верном железе, разрезающем землю, и о безумии железа и свинца, изливающего кровь.

ВЕТЕР

Wiatr nauczyłem nauki słowa — i słońcu kazalem obnieś je po świecie.

Slowacki

«Ветер научил я веденью слова и Солнцу повелел обнести его по миру».

Это говорит самый воздушный из польских поэтов, Словацкий, лютня которого соткана из лунных лучей, и жужжат по струнам этой лютни, скользят по звонким золотые пчелы

Солнца, медоносные. Врываются в их звон орлиные клики и клекоты, возгласы-вскрики сраженных рыцарей, стон бандуры степного кобзаря, веет завет грядущим поколениям, лукавится нежный поцелуй светловолосой девушки, проносится ветер, в котором сияют знамена, проносится ветер иной, шелестящий снегами взметенными и мерзлыми мертвыми травами, над могилой изгнанников, ветер Сибирских пустынь, и снова качаются чаши цветов, согретых светлюю весной, и снова взрывается буря, и снова лунная, лунная, светлая, холодная, в холодности ласковая, слышится баллада, рыдание погибшего, проклятие врагам, отречение от проклятия, благословенье своей жертвы, взнесенье жертвенной свечи во имя Единственной.

Ветер научил я веденью слова.

«Wiatr ojciec, a woda matka», «Ветер отец, а вода мать», говорит польский крестьянин. «Ветер господин», говорит русский крестьянин. «Ветер — Божье дыханье», говорит житель Галиции. «Ветер — легкая птица», говорит германец, «Der Wind, ist em leichter Vogel». «Ветра изловить нельзя», говорит закавказский татарин. А изящный итальянец подтверждает с танцующей иронией: «Ветер никогда не входит в место, откуда не может уйти», «Il vento non entra mai in luogo di dove non possa uscire».

Ветер любит вольность и любит шелест, веяньем своим велит возвращаться звукам в волнообразно-повторной напевности. Взвихрив свежие свитки воздуха, с высот вдруг прилетает буря, встречные бьются ветры, мгновенные срывные свисты и взвизги, спутанная свита сердитых привидений, своевольное воление сражения, — было внутри, вынеслось во-вне, — веют и вьются враждующие воинства.

И вот снова, свирельно довеется, властный, но вкрадчивый, не свирепый, а влюбчивый, вестник светлой весны, вьюнок-ветерок.

Винтообразно, ветерок превращается в ветер. Вороватый вьюнок — свистун — перевертыш. Ветер свертелся в вихрь. Вращаясь и варварство свое высвистывая, вихрь превращается в бурю. Взвоят буря, и летит ураган. И вот он, вот он, вещий гром.

Водоворотная волна воздушных сил. Взбрызги сверкающих молний. От бесшумного дыханья — до раскатного гро-

ма. От неуловимого веянья — до сорвавшегося обвала звуков и воды, — и молния, как венец всего.

Воистину велит ветер возвращаться звукам в волнообразно-повторной напевности. Возьми слово певчее. Увидишь подтверждение.

«Oh wild West-Wind», «О, безумный Западный Ветер», восклицает Шелли в своей «Песни к Западному Ветру», и в этом тройном в-в-в мы явственно чувствуем веянье ветра. И дальше этот воздушный свирельник поет:

«Wild Spirit which art moving everywhere»,
«Взметенный Дух, ты движешься повсюду».

Едва слово заговорит о ветре, оно невольно играет легкой звуком *в* или цепкими, шуршащими, шероховатыми звуками *с, з, ш, щ*, живописующе передающими шорохи листвы.

«Вей по ветру, а впротiw, а всупротив — глаза запорошишь».
(*Русская поговорка.*)

«Выше ветра головы не носи». (*Русская поговорка.*)

«Попутный ветер — святой воздух». (*Каспийская поговорка.*)

«Се ветри, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами... пороси поля прикрывают». (*Слово о полку Игореве.*)

«О, ветрев, ветрило! чему, господине, насильно вееши?» (*Там же.*)

«Повей, повей, ветер,
Из чистого поля.
Из чистого поля,
Из синего моря.
Суши, суши, ветер,
Все стежки, дорожки».
(*Русская народная песня.*)

«...Знакомым шумом шорох их вершин меня приветствовал...»
(*Пушкин.*)

«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя:
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя».
(*Пушкин.*)

«Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка...»
(Лермонтов.)

«Густолиственный
Твой зеленый шлем
Буйный вихрь сорвал
И развеял впрах».
(Кольцов.)

«В няньки я к тебе взяла
Ветер, солнце и орла...
Ветра спрашивает мать:
„Где изволил пропадать?
Али звезды воевал?
Али волны все гонял?“»
(Майков.)

«Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон,
Как шорох стаи журавлиной,
И в шуме листьев замер он».
(Тютчев.)

«От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью».
(Фет.)

«Ветер злой, ветер крутой в поле
Заливается,
А сугроб на степной воле
Завивается.
При луне (на версте мороз —
Огонечками)
Про живых ветер веет, пронес
С позвоночками».
(Фет.)

Веял ветер и говорил. Слушал певец и выслушал. Выведал тайновость — и вложил ее в слова. И вот слова, перевиваясь, поют, вещая, и вложенная в их буквы звуковая повесть, повторно вертя своим веретеном, ведет.

Неведущие говорят, и вновь и снова скажут, будто радость игранья буквами, таинство звуковой вести-повести создано русским стихом конца 19-го века под влиянием английских и французских символистов. Это неправда. В сильном выпуклом явлении нет влиянья, а есть радость нахождения себя в других. Тот, кто сделал русский стих, современный, переливчатым и весело светлеющим от внутренних созвучий, свивающих вещие звенья, нашел эту музыку в себе, взростил эту вербную ветку в своей весне, жужжащей первыми пчелами. Притом, тут неизбежным образом выразилось природное явление, которое для верного своего выявления имеет неустранимо предназначенные формы. Закон, строящий поэтическое выражение на особой музыкальной основе, был много раз и во многих очагах, друг от друга независимых, частично найден. А если в данном случае говорить о влиянии, оно прежде всего исходило от Пушкина, от кого тянется неисчислимость внушений и зачарований.

Кто вырос в деревенской тиши и с детства внимал вещим шепотам деревьев и ворчливому ропоту бурь, проносящихся по нашим неоглядным пространствам, тот, и только он, понимает сполна, сколько в Пушкине ветра, сколько в нем волн и древесных шорохов, сколько в нем той звуковой тайны, которая свежо журчит в его стихах, как в весенней роще, после грозы, переливается виолончельное пение иволги.

«... По берегам отлогим
Рассеяны деревни; там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...»

«Брегам отлогим»... Какая гордая твердость звука. И эта полногласная смена нот «ви—во—ве». Тут визг ветра и ржавой части устаревшей мельницы. Тут ворот ветхий вращается, тяжелый ворот, навой.

Я слушаю, что говорит мне ветер, и с ним уношусь в воздушные пространства, и, ветру повинаясь, я волен видеть все. Слышу, как древний индус говорит к Огню-Агни, говорит к Ветру-Вайю. И так как древний индус сполна осуществил священный союз со Стихиями Мира, и так как он, понимающий, до сегодня исполняет завет «Землю целуй», — не

простые, а вещи это звуки, когда я говорю: «гори, гори, Огонь! вей, вей, Ветер!»

Я смотрю в затоны моей весны, туда, где купавы, заглядываю, и нежный голос поет.

Я — вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.

С ветром связано все в моей повести. С ветром, которого изловить нельзя.

О, неверный! Ветер, ветер,
Ты не помнишь ничего.
Дай и мне забвенья, ветер,
Дай стремленья твоего.
Ветер, ветер, ветер, ветер,
Ты прекраснее всего.

Вспоминаю пути свои от океана до океана. Вечная взволнованность довременной Воды. Сине зеленый Мир неоглядного Тихого океана. Буря рвет снасти, а я вспоминаю строки сильного и одинокого брата моего, Юргиса Балтрушайтиса.

«В море, в поле — та же воля,
Всюду звонок свист и вой, —
Весела земная доля
В час тревоги грозовой.
Ширит вихрь, свирель живая,
Звон вблизи и звон вдали, —
Воет, веет, раздувая
Искру светлую в пыли».

С свистом-присвистом ветер врывается в седые паруса. Путающим движением смешавши взбрызги волн, закрутил вуали пены, завертелся вместе с чайкой, измял ее малые крылья, выпрямил смелый полет альбатроса, которому весело в вихре, не смеющем смять его, сурового, и, едва освободив мечту в этой поющей симфонии, как нашептывает что-то о доме, о поле, о брошенном милом обветренном крае, где рожь и мои васильки.

Из рук моих выпала книга Яна Каспровича, «Chwile», «Минуты». Я прочел строки: «Spujcie sie wiatr po polu», и, прозвучав по-польски, они претворились и стали русскими.

Он мечется по полю, ветер,
Средь жита он путь свой пронесит,
Где хочет, вздохнет, отдохнет там,
О том никого он не спросит.
Метнется к болотам, проворный,
Склонясь над рекой шевельнется,
Смутит в ней покой серебристый
И в дальние зори замкнется.

МЫСЛИ СЛОВАЦКОГО

Мы, русские, раньше, говоря о наших поэтах, наиболее сильных, почти неизменно сопоставляли два имени — Пушкин и Лермонтов. За последние лет двадцать пять к двум этим славным именам, в сопоставлении, присоединились, как равноправный, два благородных имени — имена, не менее лучезарные, чем те прежние звезды — Тютчев и Фет. Пушкин — Заря наша, Лермонтов — Комета, Тютчев — звездная Ночь, Фет — любовный Сад, звонкая от птичьих песен роща. Без этих четырех не быть нашему чувству светлым, тонким, утонченным, музыкальным. Они, как восток и запад, как север и юг, четыре угла нашего поэтического Эдема.

Иные певцы, старые и новые, нам дороги. Их перечислять, значит — называть драгоценные камни, и благовонные цветы, называть свирельников, трубачей, и играющих на мочуе рого, и виртуозов скрипки. Но я говорю сейчас о краеугольном, и, так говоря, надо назвать Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета.

Подобно этому, если мы будем говорить о польской поэзии, мы можем назвать много блестящих имен. Выспанский, Каспрович, Пшибышевский из позднейших — имена звучные. И найдутся у поляков имена, столь же драгоценные для них, как для нас имя Кольцова или Баратынского. Но, если говорить о краеугольном, мы должны назвать троезвездие — Мицкевич, Словацкий, Красинский.

Без «Дзядов» Мицкевича, «Лилли Венеды» и «Балладины» Словацкого, и «Небожественной Комедии» Красинского невозможно помыслить польскую душу. Без этих трех луцистых звезд нет сада с польскими цветами и мечтами.

Из трех гениальных польских поэтов мне более всего любезный, изысканный, проникновенный, и умно-язвительный, и несравненно-музыкальный Словацкий, воплотивший в своих драмах стрелометность и многогранность польской Души.

В своей книги «Три Драмы Словацкого», изданной М. и С. Собашниковыми в Москве, несколько лет тому назад, я дал русский перевод «Лилли Венеды», «Балладины», и «Гелиона-Эолиона» (отрывки из «Самуэля Зборовского»). Есть другие переводы Словацкого, сделанные другими лицами. Но Словацкий не только драматург и не только лирик в прозе и стихах, равного которому в смысле певучести трудно найти среди самых больших Мировых поэтов. Он также и мыслитель в точном смысле этого слова, и его «Fragmenty Filozoficzne» и «Notatki i zapiski w raptularzu», — весьма примечательны. Привожу некоторые из этих философских отрывков и заметок, занесенных в дневник. Они не только определительны по отношению к польской душе и к гению Словацкого, но, будучи безукоризненно изящными по форме, хранят в себе и ценные мысли, подобно тому, как широкая волна океана не только звучит и переливается красками, но еще и выбрасывает, нам на радость, красноречивые диковинки из морских глубин.

Рим городом был до конца — каждая деревня сегодня может начать быть Польшей; что говорю... — человек один может это сделать... уж сделал.

Каждая революция, прежде чем выявиться в теле, должна наперед обнаружиться в духе. Итак, наибольшая перемена мира и деяние наибольшее должны быть предупреждены революцией людского ведения, установлением на достоверных законах — чувства людского, высвобождением и ведения и чувства из-под влияния мнения или инстинкта.

Из слов этих, что все через духа и для духа сотворено, — а ничего не существует для телесной цели, — выйдет будущий творческий Божий народ — вождь народов и законодатель.

Мысль эта есть дух — по ее следствиям узнаете ее — кто примет духа, будет расти, кто не примет, будет мельчать.

Не тяжесть греха, а недостаток полетного пламени любви удерживает тебя на земле с громадой тебе подобных.

Через чистоту добывается Божий огонь.

Я говорю тебе: вылечи в горбатом горбатость духа. Ибо если только тело выпрямишь на кресте и железном ложе — дух этот избавится от выпрямленных костей и другой раз уродится горбатым; а ты будешь врачом, подобным Аполлону, который из лука стрелял в головы Пифона и видел, как они снова нарождаются в большем количестве — пасти шипящей гадины. Тою гадиной перед тобою является природа. — Подобно этому скажу тебе: ежели ты судья — вылечи от убийственной жажды тех духов, которых за двери выталкиваешь, чтобы миру не вредили, ибо говорю тебе, что из-под гильотин летят эти клубки светов и солнц червонных — и разрываются на головах людей, уже занятых мыслью убийственной... толкая к преступлению Макбетов... в детях макбетовых рождаются царями из татар — Иваны Грозные, из Иванов Грозных — якобинцы, что из внутренностей женских вырывают первые цветы и называют их цветами свободы.

С поля битв, где бились за свободу, тысячи возросших духов — смертью захваченных — шли снова облекаться в тело и с еще большим презрением к смерти работать для мысли народной... Там духи-рыцари, взаимно влюбленные, собрались в те стаи, которыми они и до сегодня прилетают на землю... Там духи поэтов создали те волшебные гирлянды, подобные

ныне пролетающим лебедям, которые разом являются, и, как будто колядую, посещают народы... в каждом пропоют что-нибудь из духовных тайн... в каждом постигнут духа и уро-дят ему будущее... Там духи измыслили потребность в памятниках... то-есть необходимость славы посмертной, кото-рая иногда не есть глупость и людской недуг, как возглашают это с амвона священники... а была только предчувствием, в духе творящим, работой духа, который по смерти — воз-жажданным должен быть, чтобы вернулся для дополнения своей работы... и ныне будет с видением совершаема она че-рез духов, исполняющих посланничество... Ибо если-б один из таких великих духов меча или богатырь слова, Цезарь, на-пример, или Дант, появились одни среди людей, занятых иною мыслью — вместо награды за прошлую работу, должны были бы чувствовать себя в аду.

Поймите, что слово есть дух — и все стало через духа и для духа, и ничто не существует для телесной цели.

И вы — духи в духе слова и сыны в Сыне Божием.

И это есть вера ваша и святая мысль ваша, которая вас пере-менит и через вас новый мир создаст и новые века.

Наимудрейший ничего вам против этого и ничего сверх поведать не может — но в уразумении этих слов есть знание и огромность и страшная ясность видящей веры, которая из одного духа выводит все творение.

И в чувстве бессмертия духов наших, которые были и суть и будут, указывает в нас лучистое царство Божие, к кото-рому души наши ведет через духа святой отчизны, в конеч-ной цели указуя победу духа над телом и смерть побежден-ную, и Шар Земной, лучистый в разлитии лучей — через ду-ха, что был альфой и будет омегой — началом и концом.

Заслуга ваша в будущем не есть ни обширность стран, ко-торые вы завоевали, ни богатство, ни длительность сущест-вования между царствами — но дух, выработанный на земле, между духами народов наисвятейший и наичистейший, ко-торый способен был в святой страсти заняться пламенем восторга от моря до моря и единомысленно выбрать посреди

своих наивысший дух царем своим и ему покориться, — через любовь избранный...

Красота есть все, что *ангелизирует* вещество. Согласно Платону, благо-красота была тогда в беспокойном тосковании душ, то-есть, была только подкрасотой, или *pittoresque*, живописностью, мглой, на которой знание живописует *красоту правды*.

Быть, это — ощущение того, что можно не быть.

Великий человек тот, который наиболее имеет прошлого, сознаваемого в духе, и наиболее будущего, сотворенного духом и уже в себе осуществленного... Данный миг есть как бы тело мотыльковое тех двух крыл... Психея.

Тот же самый дух в камне, в растении, в звере, в человеке.

Цель наша не есть только познание Бога, но и достижение Бога, через духо-вещество... и затем деяние духа.

Устройство духов, связь которых образует народ, как бы схоже с устройением растения... самые высокие ветви дают цвет и плод, — это духи, кончающие посланничество (гении).

Дух розы — красота для красоты.

Смерть великих людей — погребальные свечи.

О, как пусты те, что приходят с холодными сердцами на прение. Приходите на прение... а я хотел бы, чтобы внутрен-

не вы возродились и в себе духом взнесенным все нашли... Ибо, когда вознес я дух, целый год каждая былинка, каждый слизняк океанский мне дело духовное рассказывали... Ангельская роскошь духа в чистом творчестве...

Стройте целый мир для духа... и себя постройте соответственно с духом, и без всяких тайных связей и сговариваний встретитесь в одной мысли Божьей — подобные себе в мудрости, слитые сердцами, обладая спокойностью ангелов и взнесенностью над теми, в которых наивысшая сила есть бешенство и которые пред вами, Божьими, почувствуют себя укрощенными, как низшие перед вами звери... В спокойной силе и в любви к человечности, разлитой на людей, ищите опоры и права ваши берите рукою спокойной, хоть бы лежали они между тысячью молний.

Хоть бы ты не хотела, душа, Бог исторгнет из тебя эту новую силу действенную... И от вольных давних ликов твоих отступить твоему духу не позволить... дальше пойдешь...

Земля — как великое построение духа Божия, который впервые добывает ее через скопление личного бессмертия.

Ветер научил я веденью слова — и солнцу повелел обнести его по миру.

Вот тебе цель последняя — работа духа, стремящаяся к просветлению воздуха целой земли. К этой цели идет твоя родина, все творчество духа святого к той цели идет — всмотри же, взглядишь в то солнце последнее...

Выдыхание растений, в которых дух отбывает вступительное посланничество, выобразовывая начатки ангельские, припоминается нам приятно, и зовем мы его *благово-*

нием. Выдыхание растений, в которых дух идет обратной дорогой, приближаясь к гнили, мы зовем *вогню*. Это есть припоминание духа нашего, есть единственная в своем роде врожденная мысль благоуханья. Отсюда — личное пристрастие к тому или иному запаху.

Пьянственность, так же как огонь, который есть свет, из духа добытый, под принуждением телесным, — такая пьянственность есть пыл духа, освобожденного, благодаря разыгравшейся крови.

Лучи человеческой мысли суть воздух для духов.

Кто был бы властен отворотить магнетический ток от какой-нибудь части мира, он создал бы голод, заразу и смерть.

Пред этим люди завладеют электрическою силой и будут владыками морей, сжигая корабли.

Зерно земли и каждый дух, как луч, — выше над землей внесется мыслию и чувством, тем большим становится; когда же причастится Слова, святым становится и Сыном уж Божиим.

С той стороны смотреть на мир, с которой смотрит Бог, со стороны духа.

Фейерверк, музыка огневая.

Космогония — огонь на земле; природа его — очищающаяся по мере высоты. Итак, уже месяц есть бледное пламя, Меркурий — чище и живее, Венера — уже огонь живой, Солнце — совершенно чистое и вольное. Юпитер — сам через себя делящийся и спокойный, Сатурн — поглощенный звездами.

Поэты суть велите откапыватели слов духов — ибо хранят их нашептанные... и слова эти, в рифме примененные, имеют силу откровения, — они звенят каким-то тайным воспоминанием в каждом духе.

Вся сила Мицкевича — в этом откровении слов. Иногда художник, превращаясь в поэта, является в словах создателем откровения в краске... Музыкант, превращаясь в поэта, находит, полные откровения, выражения звуковые. После великого числа музыкантов, что ныне существуют, будет когда-нибудь великое число поэтических гармонистов, пишущих стихи только для звука — и пойдут выше...

Из прошлого мы имеем силлогистическое творчество, из будущего захватываем творчество догматическое.

Маргаритка — муравейник цветов.

Поэт, что написал хорошее произведение и беспокоится о нем, непохож на Божество, — ибо разве Бог, сотворивши солнце, послал бы ангела осведомиться, что, смотря ли уже на него люди.

Дух в атоме один и страдает, как единица, — но он страдает также в целой громаде подобных духов, когда эта громада утеснена другой.

Есть духи, которые иногда идут против ветра, и пока борются, до тех пор в них сила. Самое страшное для них испытание — встреча с долго неиспытанным счастьем и отдыхом. — Часто тогда они сломаны.

Представить себе науки в очертании огромного существа, которое живое и постоянно вырабатывает себя в различных частях.

Когда Дант увидел созвездие Креста в южном полушарии, тогда еще неоткрытом, это было в нем припоминание какой-то прежней жизни.

Дух вывернут наоборот в дереве, голова которого — на земле, и в тварях он медленно возносил ее, пока не поставил ее сполна к небесам в человеке.

Казимир Великий такое царство оставил Ядвиге, что могла им управлять взглядом и улыбкой.

Преступники, через смертную казнь выгнанные за врата видимой жизни, возвращаются в мир еще более страшными преступниками.

Родиться в стране, где смотря на правление можно было бы любить Бога.

Монголы считают за грех: бросить нож в огонь, убить птицу, вылить молоко на землю.

Если у человека природа Саламандры, он одевается в огнистый плащ — воры, приманкой притянутые, крадут у него этот плащ и пылают в нем, — а он новый себе сделает.

О ДОСТОЕВСКОМ

В русских народных сказках часто повторяется образ страшной волшебницы, которая называется Баба-Яга. Обладающая тонким обонянием и способностью угадывать события на расстоянии, Колдунья Яга может носиться, как ветер, там, где люди могут только ходить или бегать.

Она летает в железной ступе, в сосуде, в котором раздробляют, измалывают вещество крушащим пестом. Она живет в избушке, стоящей на птичьих ножках, на лапках существа, одаренного крыльями, и эта избушка, по заговорному слову ее, может повертываться на Запад, повертываться на Восток, смотреть своими оконцами в любую сторону света. А так как Яга и подчиненные ей ведьмы питаются душами людей, она и служащая ей делаются легкими, как души.

Если брать именно эти черты жуткой Волшебницы, увиденной загрезившим оком русского народа, я не могу не вспомнить один из ликов бесконечно-сложной многогранной личности того гениального художника, чье имя — Достоевский. Его тонкое чутье, неошибающееся чутье лесного зверя и лесной колдуньи, по малому, почти неуловимому, намеку пролетевшего запаха, всегда приведет его на верный след. А по следу он пройдет безошибочно всю дорогу, пока не глянет прямо в глаза тому, кого искал и все свойства которого он разгадывает еще до того, как поставил лицо свое в уровень с лицом того, кто должен быть весь разоблачен в его магическом зеркале. Он может, как ветер, летать там, где другие только ходят или бегают, спотыкаясь.

Взяв вещество, он его дробит, сокрушает, перемалывает до полного пресуществления. И твердое зерно, в волшебстве, делается мельчайшей белой пылью; в ней играют радуги; из нее можно сделать летучую воздушную завесу, и из нее можно сделать подкрепляющий хлеб каждого дня, и по воле преобразителя вещества можно сделать из нее дьявольские рогульки для иступленного шабаша, и можно сделать те священные знамена, которые возникают в самом высоком таинстве нашей религии.

Он живет, этот чтец человеческих душ, не в простом доме; его жилище может произвольно повертываться в любую сторону света, чтоб узнать до конца и ночную тайну и дневную тайну; его окна видят вещественное и, рассекая своим светом вещественное, видят все сокровенное душ, напрасно прячущихся в извивные и плещущие завесы вещества.

И он легок в своей поступи, как душа, потому что он питается душами, вбирает в себя все, что есть в душах человеческих.

Узнав сам, много раз, величайшую боль, величайшие соблазны, самые большие возможности и самую великую невозможность, видевший смерть лицом к лицу, когда молодость кричала в нем и шептала всеми своими голосами, он, стоявший на эшафоте и считавший секунды, отделяющие его от казни, явленной во всем ужасе, хотя и не пришедшей внешне, он, узнавший чудовищный и священный недуг, паучью, посланную Судьбой до него молниеносному пророку Аллаха, как страшный дар, помогающий узнавать подземные тайны и тайны верхней бездны, он, без вины томившийся годы на каторге и знавший там радость принять от бедной девочки копейку милостыни, — мог ли он не знать, что есть в душах человеческих. Много раз растоптанный Судьбой и узнавший, что на остриях боли так же играет радуга, как она, играя, стоит на горных высях свершившейся грозы, он, говоривший и с Богом и с Дьяволом в полной мере человеческого голоса, воистину питался душами и всем, что в душах. Страшно ли это? Вероятно, страшно. Но, как Бенвенуто Челлини, он мог бы сказать, что он не знает, какого цвета страх («io non conosco di che colore la paura si fusse»). И нет. Он слишком хорошо знал, какого цвета страх. Но он не страшился быть там, где страшно. Рок ему велел смотреть на Горгон, и он смотрел. Мы от него знаем, как шевелятся довременные змеи. Но самый неистовый художник Итальянского Возрождения, создавший героя, убивающего красивое чудовище, был перед этим смиренным Достоевским не больше, как ребенок. Ваятель Персея, по-детски свершая свои элементарные бесчинства и злодейства, весело полагал, что ему все позволено. Достоевский начертал огненными буквами эту Сатанинскую заповедь, вопреки его воли ставшую боевым кличем нашей извращенной действительности: «все позволено». Но он знал также, как знал много раз видевший смерть и на доске проплывший морскую бездну апостол Павел, что «все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Творчески прикасаясь к змеиным областям человеческой души, Достоевский всегда помнил то великое правило, которое дано русской поговоркой: «змею выше глаз не поднимай». Он не дозволил змее верховодить над своим умом. Он не дал ей возможности ужалить его в глаза. Ходивший по умственным остриям и в значительной степени вы-

шедший в своей философии Заратустры из Достоевского, Ницше неизбежно оборвался в пропасть и впал в роковое безумие потому, что он поднял змею выше своих глаз.

Имея ключ бездны, Достоевский умел ходить по краю пропасти. Он мог бы справедливо определить себя яркой формулой, данной самым могучим художником французской прозы, Бальзаком: «Наш дух есть бездна, которой любы бездны» («Notre esprit est un abime, qui se plait dans les abimes»). Но приближаться к краю пропасти есть или праздное любопытство и недостойное занятие, или слишком опасное дело, потому что, кто заглядывает за срывный край, того зовет голос глубин и велит ему броситься вниз. Тут нужно иметь ключ бездны. А он дается лишь тому, кто в собственной своей душе носит весь объем верхней звездной бездны. Оттого Достоевскому и не грозила та крайняя опасность, от которой предостерегает испанский мистик 17-го века Кэведо, говоря: «Внутри собственного своего тела, сколь ни малым оно тебе кажется, странствуешь ты. И если не смотришь ты зорко, куда влекут тебя собственные твои желания, потеряешься в этом малом вместилище навсегда», «para siempre».

Когда страшная Лесная Колдунья летит в своей железной ступе, под ее полетом бешенствует буря, стонет лес, теряет рассудок и мечется скотина, веет смертоносное поветрие, проходит мор с окровавленными руками и с лицом, похожим на багровый месяц, тонущий в болоте. И кто увидит Ягу, становится нем. Не это ли художнический путь Достоевского?

Он пишет романы, но это не романы, а жуткая, колдовская и пророческая летопись. Каждый роман — исполинское стихотворение в семь строф по сто страниц в строфе, и все семь смертных грехов пройдут по семи этим строфам и падут, растоптанные, пронзенные копьем святого Георгия. Людду человеческих привидений соответствует природа и обстановка городских улиц, откуда истребляюще вынуто все телесное, так что самое реальное становится самым воздушным и фантастическим в неизмеримо большей степени, чем это мы видим, например, на затянутых дымкой картинах Тэрнера или в дьявольских видениях Брэгеля. Жители Мертвого Дома, каторжники, — дети, похожие на обиженных ангелов, — сладострастники, ум которых пляшет пляску, похожую на приступ падучей, — подвижники, совершающие земной пок-

лон перед убийцами, — убийцы, говорящие над трупом о бытии или небытии Бога, — юродивые, говорящие слова непреходящей ценности, — юноша, читающий звездную книгу, — влюбленные, убивающие своих любимых, ибо в этих людях любовь есть сумасшествие, — бесы, принявшие человеческую личину и пытавшиеся погубить целую страну еще полстолетия тому назад, и разрушившее всю Россию ныне, и грозящие всему стройному и живому на Земле, чего не может, не хочет сознать и увидеть слепая Европа. «Вы никогда не видали красного цвета, а я вам буду говорить о нем», написал однажды в своем дневнике Достоевский. Он сдержал свое слово. И его слово — грозное предостережение. Не постоянная ли это судьба всех прорицателей, к безысходному горю тех, кто глух к предвещаниям.

Человек, видевший великие битвы и сам принимавший в них участие, неспособен говорить малые слова о большом и напрасно-большие слова о малом. Таков Достоевский.

Человек, знавший крайнюю беду и не сломленный своим предельным несчастьем, о чем бы он ни начал говорить, говорить как-то особенно, и душа его полна великой тишины, которая выразительнее всяких слов. Таков Достоевский.

Человек из племени, которое долго жило в широких степях или в пустынях, говоря с тобой, всегда смотрит немного поверх тебя, как бы сквозь тебя. Потому что он издавна привык смотреть вдаль. Таков Достоевский.

Были ли предшественники у русского гения? Отдельные малые зерна того, что у Достоевского есть пышная нива, отдельные семена того, что у него дремучий лес, можно найти у романтического сказочника Гофмана с его «Эликсиром Дьявола», и у гениального Эдгара По, с его рассказами «Сердце-Изобличитель» и «Демон Извращенности». Но это так мало, что не стоит об этом говорить. Нет, у него не было предшественников, и ни раньше, ни позже не было равного в искусстве чтения душ, как не было предшественников у величайшего из исторических народов, египтян. Разве Атланты, унесшие свою тайну на дно Океана.

Если брать лучезарные имена, с одним только именем можно поставить в уровень имя Достоевского. Одно явление на свете польского гения Коперника означает, что вся звездная наука, до него существовавшая, опрокинута безвозврат-

но, и люди приблизились к небесной правде. Одно явление на свет Достоевского означает, что все прежние пути художественного приближения к правде душ опрокинуты и указана совершенно новая дорога. В этом Достоевский — один, как одна над побежденной грозой стоит радуга. Рядом с истинной радугой бывает иногда другая, но она призрачно-бледна и быстро тает.

Рождаясь из маленьких капель росы, из ползучих туманов, из гнетущей духоты, туча доходит до лика жуткого капища, и в ней грозное празднество похоже на шабаш веселящихся демонов. Но она кончается семицветной радугой. А как говорят горцы Кавказа, много знающие о грозе и пропастях и горных вершинах, конец радуги всегда упирается в такое место, где зарыт клад.

МАЛОЕ ПРИНОШЕНИЕ

Отдельные страны земли разъединены природой и людьми. Но есть мировая переключка от страны к стране. Одна другой дарит свой красивый обычай, или верную мысль, или слово песни, или подвиг, пробуждающий души, самые разные, или манит к себе страна страну тем, что есть в ней особенно широкая река, особенно высокая гора, совершенно единственный особенный человек.

Индусский поэт Калидаса четко сказал:

Великие умы, как горные вершины,
Горят издалека.

И такое дальнее горенье превращает даль в близь, связуя одним восхищением разные страны, разные души.

К числу таких горных вершин, которые не разъединяют, а связуют, и над которыми не властны время и пространство, принадлежит благовестник русской речи, прозвучавшей во всем мире, Лев Толстой.

Страна к стране посылает в веках вестника, чтобы страны не одичали в своей отъединенности, — такого глашатая, который говорит равно убедительно и своим родным и всем чужим. Гексаметры Гомера не поют ли до сих пор и в изменен-

ной Элладе, и в бледной Норвегии, и в ученой Германии, и в неопытной творческой грезе любого юноши, увидавшего во сне длиннопокровную Елену?

И не читает ли «Дон-Кихота» и русский школьник, и судомойка в Аргентине, и надменный англичанин, полагающий, что лучше британского острова ничего нет на свете, и мало что читающий житель Испании, той страны, которая не только подарила Сервантесу самый звучный язык, но и посадила его в тюрьму?

И не научил ли многому Лев Толстой французов, хотя у них есть Раблэ и Руссо, Паскаль, Бальзак, Вилье де Лиль Адам и столько еще мыслителей и художников слова?

Малый Васютка русской деревни, наклонившийся над сказкой «Чем люди живы», итальянская девушка, с бьющимся сердцем узнающая о судьбе Анны Карениной, русский сектант, упорный старик, вникающий в слова Толстого о правде и неправде жизни, японец, переделывающий на свой лад отягощенные гроздья цветов и ягод, возникшие в Ясной Поляне, индусский брамин, задумавшийся над мыслительными утверждениями великого русского старца, — не лучезарная ли это победа извечного человеческого духа над косным веществом, не высочайшая ли это вершина такой горы, где у подножья ютятся селенья и девушка, мечтая о юноше, срывает цветы, а выше пересекаются грозные изломы, и уж не могут туда долететь бабочки, разве прошуршат, бросая тень, поседевшие крылья орла, а выше только снег и лед, а на самом верховном взнесенъи — первый свет Солнца, когда в долинах еще ночь, и — последнее замедленное зарево дневных сияний, когда давно уже в равнинах ночь.

Народ, создавший Льва Толстого, как орел, смотрит на Солнце прямо, не боясь ослепнуть. Через Достоевского и Льва Толстого, и только через них двоих из всех европейских художников повествующего слова, наше время посмотрело Богу в глаза и сказало всему Земному Шару, что жизнь людей должна быть изменена по существу.

На острове Яве есть величайший в мире Буддийский храм Боро-Будур. Он давно полуразрушен землетрясением, этот исполинский храм Белых Будд, изваянные плиты которого, если бы их поставить вровень одну за другой, протянулись

бы на версты. Но до сих пор туда приходят верные, и дышат воскурения, и молитвенно брошенные лежат на камне цветы.

В день памяти великого русского, возлюбившего любовь и самоотречение, — во имя новой жизни, которая не может не расцвести, — придя из темноты и уходя в темноту, я оставляю на камне эти три-четыре малые мои цветка.

СТРАНИЦА ВОСПОМИНАНИЙ

У каждого читателя есть любимый писатель. У каждого писателя, у каждого поэта, как читателя, тоже есть любимый писатель. Говоря — писатель, я понимаю художника слова, прозаического или поэтического, все равно.

Когда я думаю, кто мой любимый писатель, я чувствую, что их много любимых, а было в течение жизни еще больше. К скольким чувствует вспоминающая мысль нежность и признательности! Если я попытаюсь восстановить ряд любимых от самого раннего детства, я вспомню так: Народная песня, Народная сказка, Никитин, Пушкин, «Ангел» Лермонтова, «Гадкий Утенок» Андерсена, Майн-Рид, Аксаков, Гоголь, Тургенев, Некрасов, снова Пушкин, весь Лермонтов, Фет, многократно Фет, Достоевский, Шелли, Эдгар По.

О, я забыл, и скольких! «Фауст» Гете, «Манфред» Байрона, многие драмы Шекспира, отдельные страницы Библии, финская «Калевала»... Всего не перечтешь. И все это входило в душу, чаровало, притягивало, внушало, сбрасывало с души пелену темноты, много спутывающих пелен. И каждого такого любимого вспоминаешь, как ласкового освободителя, как родной голос, идущий в самое сердце сердца.

Но сколько бы я ни пересчитывал имен и книг, я не вижу в этом моем списке имени Льва Толстого, Его имя всегда было окутано в моем восприятии ощущением величия, но до встречи с этим великим человеком я никогда не предполагал, что именно его я буду вспоминать с исключительной нежностью.

Я говорю о своем личном отношении к Льву Толстому, и потому не могу не говорить о самом себе. Я пишу сейчас, как писал бы страницу дневника, а в дневнике человек всегда говорит, по меньшей мере, столько же о себе, сколько о том, о чем он хотел бы говорить. Это уже свойство всех дневников.

Впервые я читал лет двенадцати «Три смерти». Мне было холодно, и самые страшные повести Гоголя не вызывали в моей душе такого толчка отчуждения. Мне показался враждебным самый язык этого писателя. В нем не было ни бешеной тройки степей, ни мягких серебряных разливов Тургеневского слова.

Позднее я читал «Детство и отрочество», но мне запомнились не те нежные строки, которых там много, а изумительное описание ненависти. В ненавидимом неприятно и ненавистно все.

Позднее, лет пятнадцати, я с товарищами по гимназии, на беззаконном гектографе, переписывал «Исповедь» Толстого, но, переписав несколько страниц, отказался от этой работы, ибо мне показалось чуждым то, что я переписывал.

Еще позднее я прочел «Анну Каренину» и испытал мучительный восторг, но восторга меньше, чем мученья, неразрешимого и сомневающегося.

Я считаю, что лучше, чем «Анна Каренина» и «Война и мир», ни в России, ни в Европе, не было написано романа. Но сердце мое не хочет возвращаться к этой книге.

Если я буду пересчитывать все произведения Толстого, я должен сказать, что «Крейцерову сонату» я прочел с ненавистью. Все отношение Толстого к любви, к этой сказке двух сердец, мне чуждо. Но я не буду делать перечень несчетных поразительных произведений, из которых каждое есть грань души единственной, грань многогранника.

Была минута в моей жизни, когда не мое отношение к той или иной повести Толстого стало для меня главным при чтении нового его произведения, а возможность заглянуть в его душу и взволнованно подумать, какой же новый путь прошел этот особенный человек с гениальными силами и исключительными возможностями достижения. Быть может, он приковал к себе внимание юной души, этот овеванный славой и окруженный зловолием многих, именно тогда, когда он сделал простое маленькое движение. Он сбросил с себя барский наряд и надел рабочую рубаху.

Да, это случилось именно тогда. В великом человеке все значительно. И эта замена одной одежды другой имела весь смысл пострижения, в ней была полнота осуждения тому,

чем еще живем, в ней было знамение не пришедшей, но подходящей новой действительности.

Шли годы, и, высланный из Петербурга и Москвы за прочтение перед молодежью и рабочими стихотворения против царя, я был в Крыму и собирался уехать за границу. Это было осенью 1901 года. Я часто виделся в Ялте с Чеховым, и однажды он предложил мне и только что приехавшему в Ялту Горькому поехать в Алупку, к Льву Толстому. Я помню, как мы вошли в комнату, где как будто никого не было. Вдруг из угла, полускрытого ширмами, раздался голос. Что он сказал?

«А, это вы!»

Восклицание.

Но, кто раз слышал этот голос, тот не забудет его никогда. Такой голос может быть у старца-отшельника, находящегося на грани святости. Такой голос может быть у деда-пасечника, который знает лишь солнце, тишину, цветы и золотых пчел и настолько сроднился с этим своим миром, что и люди ему кажутся не больше, как пчелами.

Через несколько дней после этой краткой встречи, я был у Льва Николаевича один и говорил с ним наедине часа два; может быть, один лишь час. Не то сейчас хочется вспомнить, о чем был разговор, а то, что одним взглядом, одним простым вопросом Лев Толстой умел, как исповедник, побудить к полной правде чужое сердце и заставить его мгновенно раскрыться. Видеть это лицо, полное внутреннего света, и не любить его — было нельзя. Слушать этот голос и не слышать полной правды внутреннего зрения — было невозможно.

И, когда перед смертью, этот великий старец ушел из родного дома, и родным ему стал ветер, вся любовь нескольких мгновений почувствовала полноту этой жажды правды, которая составляет сущность всего жизненного лика Толстого, еще недостаточно увиденного временем.

ГЕНИИ ОХРАНЯЮЩИЕ

В каждом великом царстве есть хотя один гений-охранитель его, и обыкновенно их несколько. Кто хочет понять великое царство и приблизиться к нему, или даже войти в него, тот должен раньше понять то духовное содержание, которое

символизуется одним лучезарным именем или несколькими звездными именами гениев, охраняющих великое царство.

Имя гения-охранителя есть талисман, ключ свода. Гении, охраняющие, это — царские врата, зубцы башен, высокие окна из цельного стекла, цветные, но разоблачающие перед достойным тайну или часть тайны. Они — углы торжественного здания, без которых здание распалось бы, и которые могут быть точкой опоры для уставшего и острой преградой для напрасного лазутчика и врага.

У гениев-охранителей глаза меняют свое выражение каждую секунду, но кто хочет читать в них лишь благую легенду, тот может читать ее без конца и, прочтя незабвенные страницы, может снова читать ее и видеть, что от любовного прикосновения внимательной души и эта душа и эта легенда становятся все звучнее и богаче. И если вошедшая в великое царство новая душа, причастившаяся благой легенды, видит, что в данный миг все в царстве не так, как душа этого хотела бы, гении-охранители, одним своим присутствием, священной действительностью своего существования, ручаются, что великое царство за мигмом паденья знает торжество возрождения, и нет ему гибели.

Каждый народ имеет своих охранителей. Не нужно говорить, какие числа составляют народ и пересчитывать все его свойства. Нужно только назвать два или три, или четыре имени, и их звездный свет скажет, что этот народ не умрет и душа его действительна и благородна.

Кто хочет сказать Эллада, тот скажет Гомер и Эсхил, Гераклит и Платон. Кто скажет Данте, Леонардо, Рафаэль, Микель Анджело, на того глянет не только золото и лазурь итальянской мечты, но и вся красота человеческого достоинства, вся гражданская мощь этой страны, чье имя так нежно. Кальдерон и Сервантес, Греко и Веласкес охраняют в веках Испании много надежнее, чем ее охраняли войска всех испанских королей. Два сладко шелестящие имени, Шекспир и Шелли, говорят о том, что холодный народ, любящий без конца завладевать колониями, имеет кроме этого сомнительного свойства и много добрых качеств и будет жить, когда историческое Завтра весьма уменьшит число этих владений.

Гении-охранители великого царства России, временно переживающего бурю и разорванность, многочисленны, но

четыре имени особенно означительны и указующи в наши дни крушения старого мира и стихийного приближения новой эпохи. Два имени мало известны Европе, два — обошли не только все страны Европы, но и весь Земной Шар. Эти имена — Достоевский, Толстой, Врубель и Скрябин.

Каждое из этих имен, по-своему, в корне опрокидывает старый мир и зовет к совершенно новому строительству. Врубеля, живопись которого есть не только живопись, но и вдохновенное тайночтение человеческой души, знают те из французов, которые интересуются русским искусством. Огненную музыку Скрябина, нашедшего новые музыкальные пути, неведомые Вагнеру, ни высоким французским композиторам, могла создать только душа, которая сжигает целый лес, чтоб явить новое изумительное поле. Влияние Достоевского и Толстого на европейское художественное творчество уже многолетнее, и русла этих потоков широки.

В пленительном Оксфорде, где так волшебны старинные парки при колледжах, размерной походкой со мной проходил однажды под развесистыми вязами спокойный профессор, душою живший в древней Элладе и писавший книгу об Аристотеле. «Знаете ли», — сказал он мне, — «что только раз в жизни некоторая книга не дала мне спать целую ночь и опрокинула все в моей душе. Я однажды вечером начал читать „Преступление и наказание“ Достоевского. Я не оторвался от романа, пока не кончил, и знаю, что другой такой книги не прочту».

Кто читал Достоевского и способен чувствовать и мыслить, тот знает, что после прочтения двух-трех его книг человеческая душа видит новые очертания в старых предметах и совесть приобретает ту остроту, которая возникает в упорно оттачиваемом лезвии. И самый блестящий поэт-философ 19-го столетия, Ницше, этот жуткий и зоркий буревестник, сказал, что единственный писатель, у которого он мог чему-нибудь научиться, был — Достоевский.

Толстому, из всех русских слав, досталась наибольшая слава, и это по праву. Как и Достоевский, он силен необычно и сильнее всех европейских сверстников, потому что он не только писатель, а гениального размаха человек, всей душой переживавший те художественные слова, которые он говорил. Каждая его повесть, каждая его страница есть новый шаг его души, так же востосковавшей о новом и отвергнув-

шей старое, как природа зимою тоскует вьюгой и метелью о весенних цветах и силою этой ледяной снежной воющей тоски неизбежно создает тепло весны.

В 1857-м году, т. е., когда Толстой был еще почти юношей, в пламенной повести «Люцерн» он записывает:

«Седьмого поля 1857-го года, в Люцерне, перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушали его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».

Толстой рассказывает, как он обласкал нищего тирольца, и, скандализируя надменную челядь отеля, ввел музыканта в пышную залу и стал угощать его шампанским, по соседству с богатой четой англичан. Англичанин, оскорбленный, встал и ушел с своей женой прочь. Молодой Толстой спрашивает:

«Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, — или маленький певец, который, рискуя тюрьмой (за нищенство), с франком в кармане, ходит, утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали?..»

Этот с юношеской остротой поставленный вопрос был пламенем в душе великого русского гения в течение всей его жизни и сделал все его творчество таким значительным, всю его личность такой вещью. Старый мир не захотел слышать достаточно внимательно его голос. И тот пожар, который мог быть предупрежден, стал мировым. Пожар может быть окопан, может — распространяться.

Песня бродячего тирольца должна быть услышана не только ленивым слухом, но и благими сердцами. Она умеет быть кроткой, эта песня тирольца, как щебетание ласточки, как воркование горлицы. Она может также стать грозной, как свист разрушающего ветра, как гул урагана, который безумствует в том великом царстве, где сейчас пожар.

ЗЕМЛЯ СМЕРТИ

Поэзия, в истинно-творческие свои мгновения, имеет дар говорить проникновенные слова. Эти слова, рисуя картину, придают ей свойства многоповторной значительности. То, что было выразительным в свою эпоху и в своем месте, делается живым и ярким в другой стране и в иной исторический час. Укоризна, направленная к давно ушедшему, направляется метким и ранящим острием к ныне живущему. Предвещание, высказанное грядущему, которое уже давно стало прошлым, применимо к нашему настоящему.

Таковы многие из слов, сказанных пророками. Через дали времен и перенесенные в обстановку совсем иного места, они звучат нам как голос сегодняшнего дня, как взволнованный вскрик текущего часа.

Разве не о нас говорил Амос, пастух, смиренно утверждавший: «Я не пророк и не сын пророка; я был пастух и собирал сикоморы. — Но Господь взял меня от овец и сказал мне: „Иди, пророчествуй...“ И ведь это он сказал: „Вот, Я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами... За то и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших... Ибо злое это время...“»

Какие сегодняшние эти грозные слова.

И разве не странно похожи на нашу действительность слова пророка Исаяи: «Как сделалась блудницею верная столица! Правда обитала в ней, а теперь — убийцы... Серебро твое стало изгарью... Князья твои законопреступники и сообщники воров... И будет вместо благовония — зловоние, и вместо широкой епанчи — узкое вретисце, вместо красоты — клеймо...»

К разряду таких вдохновенных слов, — чья значительность художественная красноречиво многообразна и совпадает пронзительным своим смыслом с перепутанной сетью условий не одного только времени и не одного только места, — принадлежит поразительная по силе трагическая песнь современного итальянского поэта, Анджоло Орвизето, в книге, изданной в Милане, в 1902-м году «Verso l'Oriente», «К Востоку». Она была написана в применении к голодающей Индии. Но каждый русский, в ком бьется человеческое сердце, — я хотел бы добавить, каждый европеец, в котором

можно подозревать присутствие человеческого сердца, — не может не почувствовать, как много в этих стрелометных строках — нашего злого часа, нашего текущего дня.

ЗЕМЛЯ СМЕРТИ (Анджоло Орвизто)

Неумолимы Солнце и созвездья
На небе, не смягченном облаками,
Угрюмо поглощенном только зноем
Без примиренья. Тщетно к небесам
Земля раскрыла сотни ртов сожженных
И тысячи воспламененных уст,
В горячке распростертая и в бреде.
Все небо ясной ночью — только звезды,
Обширная волнообразность звезд,
А днем — поток пылающего Солнца.
Могилы — плодородная Земля
Для всех своих зародышей несчетных.
И если ветер до нее коснется,
По нивам он не устремит прилив,
Содружественный с мощным ладом Моря,
Одни, от долгой пыли побелев,
Застыло-строго всходят к небу пальмы,
Как-будто осыпь беглых звезд своих
Безгласно вознося к тем вечным сестрам,
И в зное нестерпимом, как стада
Рассеявшихся буйволов, блуждают
Толпы людские, привиденья-жертвы
Съедающего голода. О, пальмы,
Дозорные прозрачной высоты,
Так это правда, что блуждают старцы
Иссохшие, чья борода спадает
По темной груди, — женщины-скелеты,
И дети, что, как веточки под ветром,
Гонимы острым голодом, блуждают
По пустырям и через силу рвут
Какой-нибудь иссохший желтый стебель,
Сожженный Солнцем, из песку исторгнут
Коренья захиревшие, чтоб жадно
Зубами изглотать? Так это правда,
Что, если кто из воющего стада

Падет бессильный в тяжком забытьи,
Под ясным небом коршуны сберутся
И вороны, — толпой придут шакалы,
В ночи горячей, с звездами без сердца,
С пылающими звездами Креста?
О, сколько дымных там костров пылает,
О, сколько человеческих огней
На шири обездоленной равнины.
Дым едкий, запах терпкий подле вас.
О, пальмы, стражи в воздухе прозрачном,
И в дыме стоны, стонам нет конца.
А Ганг священный мчит свой ток прозрачный,
Чрез землю мертвых в Море, унося
И прах костров и то, что не сгорело
До истребления в гложущем огне.
Как маленькая лодочка на влаге,
Кружатся обгорелые останки
Под небом красной меди, к Океану;
Над ними племя воронов чернеет,
И коршуны стремят кривой свой клюв.
Нежнейший странник, Шелли, сердце-пламень,
Зажженное над синими волнами,
Так значит был напрасен твой напев,
И ты напрасно, цвет бессмертно-юный,
В священных вспевах разбросал любовь,
Благоуханье вечно молодое?
Из Индии нажим прорвался смерти,
Из той земли, где царствуют твои,
С другим нисходит током он попутным,
С другой рекой, широкою, как Ганг,
Ток золота, которого хватило-б,
Чтоб это истребленье обуздать
И миллионам тех, что умирают,
Дать жизнь. Но смерть дают, того желая.
Вот почему и буры жертва смерти,
И жертвы смерти — сонмы краснокожих.
Владычествовать — глупое желанье —
Рим затенен, Наполеон погашен.
Ты, божеский, смири ту злую хоть,
Заставь на миг притихнуть Лондон пьяный.
Вся Индия — безмерное рыданье,
Хор плача, умиранье, море мертвых.
Я видел их, по лестницам широким
Сходящих к Гангу, женщин Бенареса,

Твоих волшебниц, Индия, святыня.
С ресницами чернейшими, с очами
Глубокими, что пламенны и кротки,
Высокие и стройные, сполна
Окутаны в покров, как в дни Эллады,
Торжественные, ясные, рядами
По лестницам широким нисходили
Те женщины, на голове неся
Кувшин из бронзы в отсветах скользящих,
Держа его с изяществом верховным.
И вот, меж этих отсветов металла
И блеска глаз, под небом, полным светов,
Вдруг, над кувшином той, что всех красивей,
Легко запрыгал черный-черный ворон.
Текучий Ганг, ты видишь все в пробеге,
Скажи, в какой из хижин угасает
Красивая? Иль под какую пальмой
Она, скелет бродячий, тщетно бродит,
О горсти зерен, о плоде убогом
Напрасно просит, тщетно умоляя
Глазами — а глаза ее какие!
Смотри, британец, посмотри и види!
К тебе глядят в пустынях бесконечных
Внимательные миллионы глаз,
Сияя напряженно крайним блеском,
Дрожат и умирают звезды неба.
И миллионы рук к тебе простерты,
Таких же рук, как твоего отца,
Твоей жены, твоих детей. Подумай,
Быть может, ты в свой самый крайний час
Увидишь те чудовищные руки,
Все эти руки, что к тебе простерты,
Как туча бесконечная в великом
Смятении меж землей и Солнцем в небе,
Меж Солнцем и тобой!

ОГНЕННЫЕ ЛЕПЕСТКИ

Когда с человеком, который дорог, случится несчастье, только тогда вполне чувствуешь, как он тебе дорог. То, что его любишь, — знаешь всегда. Но несчастье бросает особый

резкий свет, и в этом жутком свете впервые то, что было видно раньше, становится явным вдвойне и особенно.

Вся Япония для меня, с тех пор как я ее узнал, один дорогой человек, живущий в красивом саду, где и мне было дано грезить, в изысканном необычном саду, который был создан этим человеком, около трудового поля, им возделанного, близ высокого леса криптомерий, им выхолненного, под гармонической горой, им обожествленной, около буддийского храма, полного резных чертогов, оваянного тихим гулом колоколов, оживленного молитвенным шорохом, и шепотом, и ровным гулом, напоминающим молитвенно-трудолюбивый улей.

Много излюбленных судьбою я видел благословенных уголков земли. Много раз, в путях, я был счастлив на далеких живописных островах Океании или в горном уюте солнечных стран. Но нигде я не испытал того, что в Японии. Несколько недель счастья, в раме сказочной красоты, и ни одной минуты испорченной, ни единого мгновенья, чем-нибудь затемненного. Ниппон, Корень Солнца, умеет быть таким. Древо Солнца, в корне своем, растет из чистого золота.

Солнечный остров одна Жемчужная Раковина.

Мне памятен любимый небом край.
Жемчужного он раковиной в море
Возник давно, и волны в долгом хоре
Ему поют: «Живи. Не умирай».
Живи. Светись. Цвети. Люби. Играй.
Ты верным сердцем с Солнцем в договоре.
Тебя хранит, весь в боевом уборе,
Влюбленный в Корень Солнца самурай.
Весь остров, как узор живого храма.
Взнесенный ирис, как светильник, нем.
Как слово песни — чаша хризантем,
Окно в простор. В нем золотая рама.
Поля. Сады. Холмы. И надо всем
Напев тончайших линий, Фуджи-Яма.

Так говорил я, год тому назад, посылая привет своим японским друзьям в Токио.

Но многоцветная, многовековая сказка Солнечного острова развернулась на полосе земли, которая служит тонкой крышей в дворце подземного Огня. Колыхнулось слишком

сильно это скрытое пламя, никогда не успокаивающееся. Разломился труд миллионов заботливых рук. Погибли несчитанные тысячи жизней. Подземный Огонь напал на любимцев Солнца.

Живы ли мои друзья, преданной любовью любящие Россию? Живы ли вы, Нобори Сиому, Айка Осэ, Нобуру Катаками?

Я знаю, что жители Японии, любящие праздник и знающие цену будням, по свойствам своего исторически испытанного нрава, никогда не потеряют присутствия духа, при самых жестоких испытаниях судьбы.

Есть старинное японское предание. Знатный воитель, с соколом на руке, охотился в окрестностях Янаки. Он шел пешком и смотрел туда-сюда. Видит храм, вошел в его ограду. В тот час, бонза того храма, старец восьмидесяти лет, прививал отводок к плодovому дереву. Дряхлые руки, с кожей, изборожденной солнцем и ветрами, днями и ночами, десятилетиями и мыслями, не кончающими свою пряжу в старой голове, держали юный-юный отпрыск. Свита воителя отстала, и никого не было около него. Даже и не глянул на него старец, продолжая свою работу. И забавным он показался знатному воителю. «Что ты делаешь, бонза?» спросил он его. Холодно ответил старец, удивленный этой бесцеремонностью: «Прививаю отводок». Улыбнулся воитель и говорит: «В твоём ли возрасте это делать? Ведь ты же не знаешь, доживешь ли ты до того, как это дерево расцветет». «Кто ты?» ответил старый бонза: «ты, говорящий так поверхностно и без глубины? Подумай же. Эти деревья взростут для тех, кто мне наследует. Здесь встанет не сад, а целый лес, и раскинет свою тень над храмом. Для храма делаю я то, что делаю, не для себя». «Истинно слово твое», сказал воитель, «и верно оно в совершенстве». А когда пришла свита знатного воителя, красуясь его гербами, он принес почетные дары хранителю храма, видевшему восемьдесят весен и восемьдесят зим. Так рассказывает это предание, родившийся в Янаке, Муро Киусо, он, что жил в деревенском домике, прозывавшемся Голубиное Гнездо. И, окончив свой сказ, он прибавлял: «Поймите хорошенько мое сердце и стройте так».

Я раскрываю древнюю Книгу Поэтов Ниппона, и вот что приходит мне в голову. Когда с дорогим человеком случилось

несчастье и ему тяжело, нужно быть с ним и нужно молчать, потому что никакое слово не скажет в беде того, что исчерпало бы эту беду. А если нельзя с ним быть, нужно добросить до него несколько таких слов, которые он любит. И мне хочется попытаться передать по-русски несколько пятистрочных разных поэтов, которые издавна любимы на Солнечном острове.

Если взять несколько белых роз, найти утонченный одухотворенный огонь алого цвета и обрызгать этим пламенем белые розы, — концы лепестков их будут обожжены, белые лепестки будут казаться обрызганными алой кровью. Такие белые розы есть в действительности. Но японские танки, полетные пятистишия, легче их и воздушное. Века и века японское сердце, мужское и женское, училось, в зрелищах красоты и в великой борьбе, отбрасывать ненужное, начиная певучую повесть сердца, которая есть стих. Трудно состязаться с тем, кто века научался играть былинками, как музыкальными струнами, и в десять слов пяти строк влагать, намеками и утончением, метко схваченную картину и выразительно сказанный связный сказ. Мои русские строки будут тяжелее щебечущих японских строк, которые улетают, как стая птиц, улетают, как золотые листья в сентябрьском воздухе, уплывают легко, как рыбки, ускользают, как дальние облачка в синеве, как отражения цветка в воде.

БУННИЯ НО ЯСУХИДЭ

(8-й в.)

В дыханьи горном
На всех деревьях
Заржавел лист.
Зовется Бурей
Дыханье гор.

ОНО НО КОМАЧИ

(9-й в.)

Вся краска цветка,
Потускнев, побледнела,
Пока я глядела,
Как лик мой проходит
Меж ликов земных.

ЦУРАЙЮКИ

(9-й в.)

Сердцу-ль человека,
После мглы разлуки,
Вспомнить человека?
Но цветы все те же,
Дышут так, как прежде.

МИНАМОТО НО ШИГХЕЮКИ

(10-й в.)

Как волны, что бьются
Под ветром о скалы,
Один,
Я схвачен печалью,
В тоске.

ФУДЖИВАРА КИННТО

(11-й в.)

Шум водопада
В далекой дали
Умолк давно.
Но светоч-имя,
Слышу, плывет.

ИМПЕРАТОР СУТОПУ

(12-й в.)

Пороги в пене.
Поток скалою
Разъединен.
Соединится —
Вот мысль моя.

ЦУНЭНАГА АСОН

(13-й в.)

Хотя я только
Слуга смиренный,
Но я хочу,
Чтоб шла до неба
Моя дорога.

ФУДЖИВАРА НОБУЙОШИ

(14-й в.)

Оставить в мире
Хоть лист словесный,
Мой знак чуть-чуть,
Как лист бамбука,
Глядящий в пруд.

МУРО КИУСО

(17-й в.)

С одним и тем же, —
Я знаю, — сердцем
Сосна веков
И цвет минутный,
Вьюнок, лик утра.

ДЖИПЕННША ЯККУ

(18—19-й в.)

Разлука с жизнью.
Немножко дыма
От фимиама.
Немножко пепла.
Земля, прощай.

Вот я сплел, как умел, цветочную перевязь из цветов, выросших в далеких садах, и бросаю ее в голубую Атлантику. Пусть доплывет она до синезеленых громад Тихого океана. Как малый дар, самонаименьший, пусть достигнет она до Солнечного острова, который не погибнет никогда, ибо, если восстают на него иногда духи подземного Огня, за него и над ним всегда лик Солнца.

К МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

Ко мне часто приходят гости, с которыми я не знаю, что делать. Юноша, молодой поэт, девушка, молодая поэтесса. Придут и спрашивают, есть ли у них талант и надо ли печатать то, что они пишут. Девушки обыкновенно скромны и за-

стенчивы, и нередко у них есть проблеск дарования. Юноши обычно самолюбивы и развязны, и в девяти случаях из десяти они совершенно бездарны.

Мне хотелось бы, чтоб никогда меня никто не спрашивал, есть ли у него талант. На самом деле, ведь глупо спрашивать кого либо другого, умен я или нет. Каждый это пусть сам знает про себя. Не более находчиво и спрашивать, есть у меня талант или нет. Творчество есть нечто глубоко-интимное, внутреннее, личное. Кто полюбил, тот не будет спрашивать, любит ли он. Его собственное сердце настойчиво твердит ему: «люблю». И поэт, когда он чувствует в себе творческий дар, сам отлично знает: «я — поэт». Если я полюбил, я смело пойду туда, куда меня зовет любовь, и, если трудно достичь любимой, я не буду спрашивать у старших, как мне ее достичь.

Вопрос: «печататься ли мне?» равносильен вопросу: «жениться ли мне? выходить ли замуж?» Опять-таки, кто полюбил воистину, не будет об этом робко спрашивать папу и маму, а с спокойной и глубокой твердостью заявит отцу и матери, или нежно сообщит им, что совершилось великое таинство сердца, и никакая сила не должна и не может разлучать двух любящих любимых.

Затем, если предположить, что я могу в точности рассмотреть, есть ли дар в таком-то начинающем писателе, какой смысл в том или ином моем приговоре? Если я скажу: «есть, пишите», это будет лишь тавтология, ибо талантливый человек все равно не может не выразить свой талант. Если я скажу: «нет таланта, не пишите», бездарный человек, чего либо захотевший, еще упрямее, нежели человек талантливый, и, конечно, он меня не послушается, и будет писать еще азартнее.

Но кроме того, как же я могу в точности рассмотреть, есть здесь талант или нет. Один начинает бледно, а из него выходит мастер исключительный: пример тому — Тургенев. Другой начинает блестяще, а из него ровно ничего не выходит; примеров тому неисчислимое множество так называемых гениальных детей и подростков, из которых образуются тщеславные тупицы с вывихнутым мозгом. И если талантливому юноше я ошибочно скажу: «таланта нет», я только причину ему боль напрасную. И если я ошибкой скажу бездарному:

«есть талант», — я только поощрю безбожное посягательство на красоту божеского слова.

Это все — как в сказке: «направо пойдешь — чести лишишься, налево пойдешь — коня потеряешь, а прямо пойдешь — и с тебя голову снимут».

Нет, уж пусть лучше буду я сам знать свою душу, свой талант, свое творчество, свою любовь. А другой в этом никто не указка.

Я могу, однако, высказывать общие мысли о том, что такое творчество вообще, и как творит и работает истинный поэт, как растет и расцветает веселящий душу цветок.

Поэт — стихия. Ему любо принимать разнообразнейшие лики, и в каждом лике он самотождественен. Он льнет любовно ко всему, и все входит в его душу, как солнце, влага и воздух входят в растение. Поэт — облако, птица, звенящая мошка. Поэт — море, ветер, цветок и звезда. Поэт — малое дитяtko, влюбленный юноша, празднующий свою весну, задумавшийся о вечности старец, дервиш, объятый бешеной пляской, задымленный кузнец, ударяющий молотом. Поэт есть голос времен, он — послушное орудие мировых свершений, он росинка, которой радостно напоить подорожник, он свирель, без которой нельзя любить красиво, он боевая труба, под звуки которой весело идут на смерть.

Лик поэта разнообразен, многообразен до бесконечности. Но как ни много в лице поэта черт, в этом многообразии есть свои пробелы. Некоторых черт в поэте никогда не бывает. Так, поэт изменчив, он изменчивей морской волны и дрожащей паутинки, но никогда поэт не был изменником. Измена, изменничество, низость предательства несовместимы с достоинством поэта, и я не знаю в истории ни одного поэта, который бы предал свою родину. Может быть, если б темные ряды предателей знали это и были бы способны воспринимать касание поэзии, многих исторических низостей не совершилось бы.

И еще нет некоторых черт в лице поэта. Сколько свойств ни вмещает в себя поэт, он не вмещает в себе страха, и ему незнакома трусость. Пушкин и Лермонтов не боялись стать под пулю, когда им показалось, что так должно. И Шелли без страха утонул в море. И лорд Байрон не боялся умереть на поле битвы, сражаясь за независимость Эллады.

Поэт открыт душою миру, а мир наш — солнечный, в нем вечно свершается праздник труда и творчества, каждый миг создается солнечная пряжа, — и кто открыт миру, тот, всматриваясь внимательно вокруг себя в бесчисленные жизни, в несчетные сочетания линий и красок, всегда будет иметь в своем распоряжении солнечные нити и сумеет соткать золотые и серебряные ковры.

Поэт — облако. Но да вспомнит, кто хочет это понять, как создается облако, сколько малых капель сочетаются в долгой работе своим воздушным дыханием, прежде чем мы увидим белое руно, которое посереет, и потемнеет, и отяжелеет, и раскинется чудовищем, чтоб затем заиграла алая молния и в музыке грома возникла серебряная пляска дождя.

Поэт — цветок. Но сколько подземных минут знают корни растения, прежде чем оно расцветет необманчивой алою чашей и голубой звездой и белым бокалом лилии. Лишь в таинстве молчания и долгой ошупи, лишь в глубинах почерпнет растение силу сиять победным приветом вышине.

И если ветер есть воплощение стремленья, он долго скопляет свои легкие дыханья, чтоб возникнуть бурей. И если море есть голос вечности и самая освободительная стихия, это — оттого, что оно знает величайшие препятствия для своего движения, и вот вечно движутся потоки океана и преобразуют землю, а когда море трудится, кажется, что оно поет псалом или напевает колыбельную песенку.

Стих должен быть крепким. А для этого нужно скрутить себя. Уметь в весенний свой день сидеть над философской книгой, и английским словарем, и испанской грамматикой, когда так хочется кататься на лодке и, может быть, можно с кем-то целоваться. Уметь прочесть и 100, и 300, и 3000 книга, среди которых много-много скучных. Любить не только радость, но и боль. Молча лелеять в себе не только счастье, но и вонзающуюся в сердце тоску. И в годину несчастья своей родины не убегать от них, а вбирать их в себя. Чтоб они через тебя кричали и пели. И вопреки несчетным скопищам, питающимся суесловием и трусостью, молча пойти на жестокие поля войны, где новые смогут расцвести цветы именно в новой, молодой душе, которая, пройдя через горнило пытки самоотвержения и встреча новые невиданный сочетания

звуков, красок, положений, лиц, создаст новые поэтические сущности и откроет новые поэтические формы.

Долго ждать, долго молчать, но, заговорив, иметь что сказать.

Птенец испытывает крылья,
Не отлетая от гнезда.
Из недр щедротных изобилья
Прорвется вспевная вода.
Но прежде долгий путь подземный
Пройдет во мраке взрывный ключ,
Пред тем как с миром бой безшлемный
Зачнет, дробя граниты круч.
И сплав руды, пред коей камень
Смягчит свой сплоченный объем,
Пройдет через упорный пламень,
Чтоб засветиться лезвием.
Не так ли ты, вещатель слова,
Что будет брошено в века?
В час вожделения святого
В тебе давнишняя тоска
Поет, свивая жгут цветка.

ГОРЯЧИЙ ЦВЕТОК

Горячий конь, горячее вино, горячий цветок, облитый летним солнцем, когда лето еще сильно, но в листве деревьев тревожащее душу присутствие красных пятен среди изумруда, — вот образы, которые приходят мне в голову, когда я вижу этого не потерявшего в бурях крепкого коренастого человека с добрыми умными глазами. — Эти образы еще настойчивее рисуются мысли, когда я читаю и перечитываю лучшую повесть Куприна «Суламифь».

Написать красивое стихотворение, звучное и красочное, написать занимательный рассказ, изящный очерк, захватывающую повесть, это не так трудно в наши дни, после всех великолепных достижений, сделанных русскими поэтами и прозаиками, имена которых составляют целое звездное небо. Но и при богатстве выработанных литературных форм есть темы и задачи, которые являются и для самых неподдельных

талантов не только пробным камнем, но обычно и камнем преткновения. Написать нескучную идиллию — задача почти невыполнимая. Превратить упоительную идиллию в пронзительную трагедию — задача, доступная только виртуозу. Нарисовать совершенный мужеский лик, совершенную девушку-женщину, рассказать безупречную повесть двух сердец, магнетически скованных настоящею страстью, для этого нужно иметь не только особый дар, но и быть способным самому к настоящей страсти и целомудренно подслушать ее голос в своем сердце в единственную счастлившую минуту, посланную судьбой.

Когда Куприн писал «Суламифь», в его горячем сердце пели звезды и цветы, и к воспринимающему его уму, зачаровавшемуся сказкой веков, рассказанной и нерассказанной, говоримой и вечно недосказанной, сходились тонкими цветистыми нитями, чтоб закрутиться в пышный узел, шепоты трав, голоса зверей, вскрики человеческого вечного сердца и веянья таких влюбляющих благовоний, что, читая эту повесть, любишь, снова любишь, в первый раз любишь.

Багряница и виссон, шитый золотом; золотые цепи и венцы; цветы и светильники; множество мрамора; златокованные чаши и блюда; иссеченные в камне изображения львов и херувимов, — я взял наудачу лишь несколько слов 5-ой страницы повести, как берут пригоршню драгоценных камней, как берут пригоршню цветущих трав летнего луга, для того чтобы сразу украсить, для того чтобы в одну секунду ощутить радость мира и его многокрасочность.

В напряженном воздухе, и душистом, цветет страсть человеческого сердца, себя угадавшего и другое увидевшего в роковую единственность алмазной секунды. И если, воспринявший всю красоту творящего и неизменно творческого мира, красивый и мудрый царь Соломон любил белолицых, черноглазых, красногубых хеттеянок, которые так же рано и прелестно расцветают и так же быстро вянут, как цветок нарцисса, — и если он любил желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности, — и сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко как мрамор, — и молчаливых застенчивых моавитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи, — и хрупких голубоглазых женщин с льняными

волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера, через Баальбек, и язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине, — он, искавший единственной среди всей этой пламенной множественности, как мог он, много-чувствовавший и многозоркий, не увидеть наконец самоцвет, горящий ярче всех рубинов и сапфиров, ту чуть-подросшую юную девушку, ту пастушку стад бессмертных, которой пропета в веках «Песнь песней», со стихом недопетым, загадкой оставшимся, допетая и разгаданная в повести Куприна.

В «Песни песней», в этом ярком узоре, остались волнующие душу прорывы, пробелы дымки, в которых мысли чуждятся, как замгленные призраки. Какие они? Что они делают? Что там было? Художник заглянул в колодец своей влюбленной души и увидел там отраженье звезды, которая плыла по высокой, глубокой лазури и повела его домысл, и он увидал тайну, и забросал прорывы узора великолепными цветами. Целомудренно, но с тонкою страстностью, художник явил, как любила в любви полюбленная любимица. Да.

Она отдалась без упрека,
Она целовала без слов...

Но и все нежнейшие слова она сумела сказать в краткий праздник истинной любовности.

Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь нежно извиняется, и Суламифь краснеет от его слов и закрывает глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущения она говорит: «Братья мои поставили меня стеречь виноградник... а своего виноградника я не уберегла».

Чащами леса зелеными
Ходит, кто счастья ждет.
Здесь между белыми склонами
Черный узывчивый грот.
Счастья с жадностью чающий
Входит в притихнувший сад.
Здесь забродил опьяняющий,
Ягода снов, виноград.
Розами дышит румяными
Счастья желающий рот.

Здесь содроганьями пьяными
Встречный готовится мед.
Жемчуга много нагружено
Грузною силой волны.
Здесь роковая жемчужина,
К ней дотянуться должны.

Куприн опустил руку в море, и дотянулась угадчивая рука до единственной жемчужины. Раньше, читая высокую «Песнь песней», я только в душе своей предошущал эту жемчужину. Куприн дал мне радость увидеть явственно несказанно прекрасный лик, и я уже не забуду его никогда.

ЗОЛОТАЯ ПТИЦА

Золотая птица радости всегда прилетает неожиданно, но, так как она всегда желанна, всегда она и жданна. В этом соединении неожиданности и жданности есть кажущееся противоречие, есть чудесность. Словом «чудо» и начинается гениальный рассказ, быть может, лучший рассказ Куприна, во второй книге альманаха «Грани», переливающийся огненными красками и звучаний победной музыкой, рассказ «Золотой петух».

«Не могу точно сказать, когда случилось это чудо».

Куприн описывает утреннее пение петухов, а в то же время его симфоническое достижение, пропетое с таким юным прекрасно-яростным богатством внутренней напевности, писателем, уже идущим долиной лет преклонных, является песней творческого духа, рассказывающей широким разлитием ворожащих звуков, что поэт и птица — одно, что творческая душа не стареет, что истинный художник шаловливым движением перегибает пополам свой календарь, и вот ему сразу не пятьдесят лет, а всего лишь двадцать пять, и не двадцать ли? Возраст, когда сердце влюблено в мир, в девушку, в тайну, в далекое и близкое, в свое собственное ежедневное ожидание чуда, которого ждешь и желаешь так страстно, что оно и случается.

Для чуда не нужно исключительных условий и непременно торжественного места и мига. Чудо есть чудо, и оно собою

самим делает торжественными все подробности места и времени, его сопровождающие. С Куприным чудо произошло в день летнего солнцестояния, ранним утром, в маленьком городке Вилль-д'Аврэ около Парижа, и заключалось в том, что он услышал пение петухов. Только и всего? Только и всего, а еще — волшебство кудесника, который двинет палочкой, махнет рукой, и — осуществляется магия.

Свойство магии — превращать серые вещи мира в золотые, в серебряные, может быть, в бронзовые, может быть, в медные, но непременно с отсветом, который говорит душе и указывает на внутреннее богатство того, что взору невидящему представляется повседневным и ничего не рассказывающим. Лунный луч войдет в ночную комнату, и белая занавеска на окне станет похожей на легкий наряд юной колдуньи, которая сейчас пойдет по росистому лугу и будет собирать для тайнодействия ночные душистые травы. Весенний ветерок шевельнет ветку, и качание ее, приближение и отдаление, разбудит в душе глядящего колыбельно поющую грезу. Далекое зарево зари, еще не пришедшей в наш мир, скользнет чуть-чуть по самым верхним листьям самого высокого дерева в лесу, а птица, спавшая на ветке дерева, быть может, самой нижней, проснется и зазвенит хрустальным колокольчиком. Это все — магия. Так же волшебен и художник, касающийся своим словом простого явления и заставляющий его говорить необычно и вдохновенно.

Основными свойствами своей благоволительной к миру души Куприн занимает особое место среди русских художников прозы, ныне живущих в Париже.

Мережковский — книгочей, письменный человек. Мало кто из современных художников не книгочей. Это свойство нашей эпохи, само по себе не хорошее и не плохое, в зависимости от других сопутствующих черт художника. Есть некоторая поговорка: когда сядешь есть, не закрыв книги, заешь память. Кажется мне, что Мережковский никогда не закрывает книги, и еще в петербургской юности своей он заел ту свою память, которая нам помогает вспоминать наши довременные дни и быть первоизданно-свежими, когда мы говорим о том, что любим. Писания Мережковского — изводные, производные; в них нет свежего пения и брызганья ключа, про-

бившегося из-под земли и весело орошающего серебряными каплями соседние травы и мхи.

Зинаида Гиппиус — любопытна, как поэт, и слишком маленькое явление, как прозаик. Притом же в прозе, забывая свою способность быть отъединенно правдивой в поэзии, она постоянно задается целями произвольными и, в сущности, чуждыми литературе, как таковой.

Гребенщиков — принес из своей Сибири крепкий запах лесной глуши, но он еще не устоялся, и стрелы его лука не всякую дичь умеют пронзить. Нельзя, однако, обойти молчанием, что именно он иногда родственен Куприну мастерским своим умением постичь и нарисовать зверя.

Шмелев — производит на меня впечатление — в хорошем смысле одержимого. Что-то глубоко его пронзило, и, пока он одержим этой пронзенностью, он находит сильные слова и образы. Но вот одержимость покидает его, и он становится мелководным, слова становятся ненужными и бесцветными. Отсутствует некий внутренний стержень.

Бунин — часто очарователен, иногда силен, почти никогда не могуч. Когда о нем говорят, любят повторять, что он скуп в выборе слов, художественно скуп. Но нет, это не то. Часто он скуп художественно, весьма нередко он скуп от скудости. Он вовсе не может, так, ни с того ни с сего, опустить руку в богатый старинный сундук, вынуть оттуда, не жалея, целую пригоршню яхонтов и разбросать их, чтоб они горели и светили. Куприн — благорастворенный воздух весны и естественное благоволие высокого и широкого жаркого лета. Бунин — терпкий воздух осени. Это я тоже очень люблю, и есть в осени свои чарования. Никогда, однако, в ней не зацвести белоснежным колокольчиком ландышей, которые нужны и любы всем влюбленным и приближающимся к влюбленности.

Куприн — страстно любит мир животных, мир птиц, и животные приходят к нему, прикасаются к его душе, — собака, когда мы ее любим, не только целует нашу руку, она и входит в нашу душу, и бегаёт в нашей душе с таким звонким лаем, что мы становимся веселыми, как утренние охотники в тот час жизни, который называется Юность. Птицы прилетают к Куприну, и на склоне дня, — час, когда сущность ночи начинает входит в сущность дня, и в этом есть обручение ду-

ши с тем, что прошло, и с тем, что будет, — птицы легким посвистом рассказывают внимательному свою сказку.

В благорастворении воздуха дышат все травы и рассказывают тайну леса и луга. В мировом благорасположении художественной души раскрывается тайна существ и замыкается в четкие образы. Кто прочитал однажды такие рассказы Куприна, как «Пегие лошади» и «Козлиная жизнь», тот не забудет их никогда. «Золотой петух» — новый подвиг художественного достижения в тайновидении плоти, превращающейся в дух, в состоянии благоговейного вдохновения.

Когда 15-го апреля нынешнего года друзья Александра Ивановича Куприна выступали один за другим на его вечере, в зале, которая не могла вместить всех желавших слушать его и о нем, я произнес, обращаясь к нему, мою импровизацию, где пытался воплотить именно ту черту Куприна, которая близит его к царству природы.

Средь птиц мне кондор всех милее,
Летает в сини выше всех.
Средь девушек — чей веселее
Звенит, как колокольчик, смех.

Среди зверей, — их в мире много,
Издrevле вестников огня, —
Люблю всегда любимца Бога,
Полетно-быстрого коня.

Средь рыб, что в водах пропадая,
Мелькают там и манят тут,
Люба мне рыбка золотая,
Вплывает в сказку, точно в пруд.

Среди деревьев — дуб зеленый,
Чей сок струится янтарем.
Из дуба строились драконы,
В морях, где викинг был царем.

Среди цветов стройна лилея,
Но в ландыш дух сильнее влит;
Он чаровнически пьянее
И прямо в сердце он звонит.

Средь чувств люблю огонь любленья,
В году желанна мне весна,
Люблю средь вспышек — вдохновенье,
Средь чистых сердцем — Куприна.

Когда через несколько недель, именно 6-го мая, было здесь в Париже детское утро, посвященное чтению произведений Куприна, главным образом, перед детской аудиторией, во мне возникло новое желание сказать Куприну ответственное слово в стихах, и я прочел:

Если зимний день тягучий
Заменяла нам весна,
Прочитай на этот случай
Две страницы Куприна.

На одной найдешь ты зиму,
На другой войдешь в весну.
И «спасибо побратиму»
Сердцем скажешь Куприну.

Здесь, в чужбинных днях, в Париже,
Затомлюсь, что я один, —
И Россию чуют ближе
Мне дает всегда Куприн.

Если я — как дух морозный,
Если дни плывут, как дым, —
Коротаю час мой грозный
Пересмешкой с Куприным.

Если быть хочу беспечней
И налью стакан вина,
Чокнусь я всего сердечней
Со стаканом Куприна.

Чиркнет спичкой он ли, я ли, —
Две мечты плывут в огне,
Курим мы — и нет печали,
Чую брата в Куприне.

Так в России звук случайный,
Шелест травки, гул вершин

Той же манят сердце тайной,
Что несет в себе Куприн.

Это мудрость верной силы,
В самой буре — тишина.
Ты — родной и всем нам милый,
Все мы любим Куприна.

Не знаю, очень ли хороши мои стихи, но что в них очень сказалась моя любовь к Куприну, это я знаю. И смотрите же, как хорошо совпадают два разные человека, родственно относящиеся с завлеченностью к миру. Мне было лет семнадцать, когда прозрачной летней ночью, перед восходом солнца, я возвращался к себе домой. Это было в моем родном городке, и возвращался я с нежного свиданья. Душа была раскрыта миру, и в ней плескалась голубая безбрежность. Когда я раскрыл и закрыл калитку, я вдруг остановился от ощущения, что раздался какой-то странный золотой благовест, не колокольный. Я не понял сразу, что это. А через минуту сообразил, что где-то далеко пропел рассветный петух, с ним перекликнулся другой, улица петушьими голосами перекликнулась с соседней и с дальнею спящею улицей. Пропели все петухи города, а в маленьком городке всегда сотни и тысячи петухов, и этот слитный голос задорных солнцелюбивых петухов прозвенел в моей душе гимном к Солнцу и Песню торжествующей любви. Я никогда никому об этом не рассказывал, но я припомнил это ощущение, когда в 1917-м году писал в Москве свой очерк «Светозвук в природе и Световая Симфония Скрябина»: «Солнечная птица, петух, поет, зная время, то есть передвижение светил, и его пение дает звуковую зеркальность неуловимым для нашего глаза тонким переменам в движении пространственных световых волн. Кто слушал много, в деревне или в маленьком глухом городке, пение петухов, правильно указующее полночь, рассвет и утро, тот знает, что каждый раз они поют по-разному. Полночный мрак, полночный сумрак входит в звук петушьего голоса, делая его умягченным и уравномеренным в силе. Тот же орган, та же играется песня, но регистровый рычаг, называемый тьмой, выключил нечто из звукового действия, передвинул голос органа, и песня, повторяя те же

ноты, звучит заглушенно и говорит внимательной душе не о преломлении ночи рассветом и не о свежей радости утра, а о глухой торжественности ночного часа, который черным бархатом покрыла дремотная полночь».

Представьте же, как радостно дрогнула моя душа, когда, раскрыв книгу и начав читать купринский рассказ, я встретил слова: «Я не вдруг понял, что это пели петухи. Прошло много секунд, пока я об этом догадался. Мне казалось, что по всей земли трубят золотые и серебряные трубы, посылая ввысь звуки изумительной чистоты, красоты и звонкости». И дальше: «...поет великолепное славословие бесчисленный петушиный хор. И теперь я уже не понимаю — звенят ли золотыми трубами солнечные лучи или петушиный гимн сияет солнечными лучами? Великий Золотой Петух выплывает на небо в своем огненном одиночестве. Вот он, старый прекрасный миф о фениксе-таинственной птице, которая вчера вечером сожгла себя...»

Вещий художник, рассказав себя, рассказал одновременно ласковую тайну другого. В этом великое преимущество следопыта, который любит приложить свое слушающее ухо к всезнающей матери-земле. Братский привет солнечному Огнепоклоннику, и да поют ему огненные птицы песню чаяния.

ПОЛЬ МОРАН

Художник разъятых душ, заглянувший глубоко и в то, что открыто ночью, и в то, что закрыто ночью. Поэт великодушного женского сердца и своекорыстного сердца мужского. Анатом, который так искусно играет скальпелем, что хирургический нож становится похожим на толедский клинок. И, если это ум слишком французский, чтоб не быть искушенным в искусстве холодного анализа, которое умеет говорить своеобразные меткие слова, кристаллические слагать формулы, в то же время — это дух лирический, нежно влюбленный в очарования женского естества, даже когда оно, в минуту неосмотрительности, делается забавным, становится смешным. И в этой последней черте, — уметь скользить по смешному, не переставая быть лирическим и нежным, — осо-

бенное очарование для меня, как русского, ибо это черта скорее славянская, чем латинская или галльская.

Я познакомился с Полем Мораном года полтора тому назад, когда я прочел еще только один его рассказ «La nuit Nordique». И по одному этому рассказу я почувствовал настоящего мастера рассказа, художника, умеющего видеть чуждую ему северную природу и северную душу и знающего упругие слова. Случай захотел так, что я впервые встретил Морана во французском министерстве иностранных дел. Я в жизни встречался неоднократно с дипломатами разных стран, чаще, конечно, с русскими, и должен сказать, что мне очень не нравится скользкая манера дипломатов много наговорить, не сказав ничего. Я встретил, однако, нечто совсем иное. Человек совсем молодой, тридцати трех лет, но моложе на вид своего возраста, с лицом юношеским и светло-открытым, чем-то сразу завоевывающий сочувственное доверие, человек, с которым легко, весело, хочется быть откровенным. Случай захотел, чтобы на другой день, в яркое и холодное зимнее утро, я встретился с Мораном на улице в Пасси, где я жил столько лет, — и что-то в той манере, когда, проходя мимо, он улыбнулся и весело кивнул мне, создало во мне ощущение душевной близости, что-то в лучшем смысле человеческое и братское.

Много времени спустя, я читал книгу Морана «Ouvert la nuit», именно его рассказ «La nuit turque», где в черной раме русского беженского Константинополя с гениальной силой и четкостью нарисована красивая русская аристократка, волею судьбы очутившаяся, в качестве служанки, в ночном ресторане, где служанку совершенно просто пригласить провести с гостем час или ночь, и та трагическая возвышенность, та безупречная деликатность, с которой Моран создает тонкий, тончайший рисунок, несколько раз заставляли меня остановиться в чтении этого рассказа; волнение было слишком велико. Да, не однажды слезы затуманили глаза, не однажды возникло восклицание: «Не может быть, чтобы в нем не было русской крови. Он слишком глубоко и тонко понимает русскую душу».

Но, хотя, быть может, еще проникновеннее слова Морана о русских, сказанные от лица немца в рассказе «La nuit de Charlottenburg», в книге «Ferme la nuit», — в Моране течет

французская кровь, а не русская. И однако, на духовном облике Поля Морана есть некое дуновение русского воздуха, русского бурного ветра. Его дед, в 1848-м году, покинул Францию и поселился в Петербурге, где он и жил, в качестве директора одного завода. Отец Морана, семнадцатилетним юношей, покинул Россию, приехал в Париж и тут остался. Хотя, по словам самого Морана, слышавшего разные рассказы от своего отца, тогдашняя французская колония в Петербурге, как впрочем и позднейшая, жила жизнью особой, замкнутой, оглядливой, *meticuleux*, — конечно же, за семнадцать лет, живой умный француз, впоследствии друживший с тонким рассказчиком Марселем Швобом, страстным поклонником Достоевского, воспринял и унес с собой на берега Сены нечто из русской впечатлительности.

«Достоевский и Бальзак это две самые мои большие любви», ответил мне Моран, когда я его спросил недавно, кто из великих писателей мира его любимцы. «И это уже навсегда, на всю жизнь», добавил Моран. Кстати, Марсель Швоб, которому душевный мир Достоевского был так близок, превосходный автор книг «*Vies Imaginaires*» и «*Le livre de Monelle*», был первым руководителем литературных вкусов Морана, в его детстве.

Несмотря на понимающую близость к русской душе, Моран типически — французский француз. Если из современных видных писателей Франции Эдмон Жалю мне нравится тем, что он, будучи провансальцем по происхождению, очень мало похож на француза, Поль Моран мне особенно нравится тем, что он самый французский из современных французов. В нем есть что-то, позволяющее сближать его с Мопасаном, не в смысле подражания, — конечно, этого совсем нет, он слишком самостоятелен, — и не в смысле даже некоторой преемственности, этого нет тоже, но в смысле душевного сродства. Как у Мопасана, у него пленяет очаровательная прямота чувства и непосредственная мгновенность в умении заинтересовать сразу каким-то, будто ничего незначущим, словом, самой будто-бы простой случайной чертой, — а это слово совсем не простое, оно угадано умудренным видящим чувством; эта черта не только не случайна, но составляет отмыкающий ключ, путеводную нить в лабиринте данной индивидуальности. В этом смысле необыкновенно выразите-

лен рассказ «La nuit catalane», где нарисована каталонская анархистка, и рассказ «La nuit de Portofino Кулга», герой которой, О'Патах, ирландский поэт, представляет причудливую смесь черт карьериста, демагога, проходимца и действительного поэта.

Есть в манере Морана еще одна черта, позволяющая сближать его с Мопасаном. Он слишком лиричен, чтобы его творчество могло быть ровным. Как у Мопасана, рядом с исключительно прекрасными рассказами, «Amour» или «Solitude», есть рассказы пустяшные и путанные, у Морана в каждой книге есть два превосходные рассказа, один исключительный, доходящий до гениальной пронзительности, и несколько рассказов, которые могли быть, а могли и не быть. Я сказал о Жалю, что он провансалец родом; правда, он из столь южного города Марсея. Но вернее было бы сказать о нем, что он голландец. Он мне напоминает какого-то амстердамского или роттердамского садовника, который, неторопливо существуя на берегу тихого канала с почти недвижимой водой, медленно и со вкусом, — со вкусом для себя и не особенно заботясь о том, будет ли это особенно по вкусу кому либо другому, — выращивает целые десятины тюльпанов и гиацинтов. И если устранить из его повестей, многих его повестей, чисто-хронологические данные, действие могло бы происходить сто лет тому назад в той же канве и с теми же узорами. Вот чего уж никак нельзя сказать о Моране. Он слишком современная непокорливая натура. Он горит, кипит, бежит, торопится. Он воистину — из дней автомобиля, аэроплана, войны и революции, из эпохи электрической и радиальной. В этой поспешности есть что-то свежее и освободительное, как в весеннем ветре, который ворвался в окно, хлопнул стеклянной рамой, так что она зазвенела, а пожалуй и разбилась, но заодно принес густую волну расцветшего жасмина и благоуханной сирени, и спутал все линии, придал простой занавеске мистический вид, и зовет, и манит, и уводит.

Как-то, в разговоре, я сказал Морану: «Современные французы забыли Мопасана и не ценят его, а вы мне чем-то напоминаете, что в юности я учился норвежскому языку, читая Ибсена, вифранцузскому, читая Мопасана. Они оба освободили меня: первый — освободил мою душу, второй —

мое тело, дав ему почувствовать, что у юного смелого тела есть свои права». Против моей фразы я могу сам же возразить, что это разделение, пожалуй, слишком схематично. Душа и тело — нераздельные два близнеца, и, освобождая тело, освобождаешь и душу, Как бы то ни было, Поль Моран, кажется, не был недоволен услышать мои слова, и мне захотелось повторить их здесь и сохранить.

Если я скажу еще, что есть что-то в лучших рассказах Морана равноценное той жестокой кристальности, которая восхищает в Бальзаке, как авторе рассказов «Adieu» и «El Verdngo», и нечто родственное острокрайним метким формулам Стэндаля, я закончу сближения и подчеркну, что не сравниваю его ни с кем, а вспоминаю иное любимое, чтобы вполне наслаждаться в Моране его цельною самостоятельностью, полною оригинальностью манеры, которая заинтересовывает сразу, привлекает мгновенно, держит, чарует и не отпускает. Изящен изогнутый лук, вдохновенна оперенная стрела, когда она слетает с тетивы, и кажется она одухотворенной, когда, вонзившись в круговую цель, дрожит струною и этой зыбью как бы пост ликующую песню достиженья.

Когда читаешь такие фразы Морана, как вот эта: «Мои нервы никогда не покидают меня сразу. Как женщины, я боюсь только того, чего жду», — или как вот эта: «Я учился в иезуитской школе, и это для меня не потерялось. Мир остался для меня лазурным шаром, — Иисус-Мария-Иосиф, — и на нем, крестообразно, змей», — чувствуешь, что здесь дрожит струна и зыбится острая стрела.

И, будучи русским, нельзя не вздрогнуть с восторгом, когда читаешь такие проникновенные слова, вложенные Мораном в уста немца, бывшего великолепным гвардейцем и ставшего, после военного разгрома Германии, зловещим гротеском, не менее жутким, чем какой-нибудь герой Достоевского, который мистически прошел бы через претворяющий плавильник жестокой грезы Гофмана: «Посмотрите, все наши теперешние мастера — славянского происхождения. Соприкосновение с русскими с 1917-го года есть нечто главенствующее для того, кто хочет понимать Германию. Славяне это не только те прекрасные тела, которые Фридрих II-ой заставлял похищать за высокий их рост. Это люди с кометными глазами, которые смотрят на нас через балтийские леса и

смущают, волнуют нас, потому что без нашего ведома они зывают к нежностям и к священным яростям, над которыми мы бессильны господствовать. У нас есть химики, которые умеют находить пьяность даже и в картофеле. Уж две тысячи лет Сарматский янтарь притягивает нас, как бумаженки... Петербург был для немцев полным возможностей; Москва, это — зачарование; по мере того, как Россия уходит, мы готовы следовать за ней в Азию...»

Когда в руднике случится обвал, многие подземные комнаты и переходы залиты водой. Но в других подземных уголках ютятся живые, и ждут помощи оттуда, сверху. Когда помощь приходит, когда под землю спускаются люди из верхнего воздуха, на их зов, из темных закоулков подземности, откликается зов гибнущих, но не погибших, и прекрасен этот голос человека к человеку. Приведенные слова Морана мне кажутся таким возгласом из бездны, разъявшейся, но не поглотившей человеческую душу. Эти вдохновенные слова, этот голос из глубин, залог того, что тех, кто сейчас глубоко под обвалившимися пластами земли, ждет дорога к Солнцу.

НАРОД-ХУДОЖНИК

Это было в 1914-м году. Солнце было такое же яркое и ласкающее. Более яркое для меня, потому что я проводил лето на очаровательном и величественном побережье Атлантического океана, в Сулаке Морском, Sulak-sur-Mer.

Маленький забавный городишко, ютящийся, как ракушки ютятся на влажной скале морской, над широким разбегом никогда не умолкающего Океана, который синее, поет, белеет, синее, изумрудится, гудит и, подтачивая из года в год человеческие построения, грозит, что однажды обрушит весь этот благовонный Сулак в свое всеобъемлющее емкое лоно.

О, какой он благовонный, благоговейный, ладанный, этот пронизанный июльскими лучами солнца смолистый воздух Сулака. В городе, — если это город, а не село, — и вокруг над морем, — песчаные холмы, холмики, наслоения, построенья ветров, играющих песчинками. А на этих песках, кроме самовольно растущих диких гвоздик, которые здесь не алые, как у нас, а нежно-аметистовые, лиловатые, живут насаженные

местными жителями и насаждавшиеся еще в доисторической древности сосны, иногда стройные, по большей же части столь изогнутые, узлистые и вывернутые, что являют собою как бы древесное изображение всех прихотей и вывертов изворотливого ветра.

На каждой сосне длинные белые шрамы. Срезана местами, ссечена кора, и смолы, блестящими душистыми каплями, стекают в приспособленный горшочек. Три раза в год бывает сбор смолы, которую продают для лекарственных и иных целей. А в промежутках между сборами, раненые сосны, узнавшие прикосновение лезвия, с умноженной силой духа насыщают воздух ладаном и курятся к Солнцу утонченно.

Каждый день утром, проходя мимо соседней виллы, где жила молодая чета, я спускался к морю и шел у волны, по затопленному солнечным светом песку. Каждый день, уходя дышать свежительным духом Океана, я дышал, мимоходом, пьянящим запахом цветов. Козья жимолость, гвоздика, розы, горячие подсолнечники, — много их там, цветов, что целуются с Солнцем.

Проходя раз мимо соседней виллы, я был задержан каким-то странным звуком, без конца раздававшимся оттуда изнутри, из комнат с окнами наглухо закрытыми, несмотря на то, что было яркое теплое утро.

Это был плач — не плач, это была жалоба — не жалоба, это было причитанье какой-то птицы, потерявшей птенца, это был полудетский голос, который свивал для самого себя бесконечную пелену печальной сказки, что-то себе рассказывал, в чем-то себя убеждал, упрекал небо и звезды, делался выше, напряженнее, и снова упал в неисходную грусть, граничащую с полной тишиной, словно чье-то лицо упало в подушку, прижималось к ней, чтоб еще глуше была скорбь, чтоб никто-никто не услышал, что вот, — что вот...

Я ушел. Не понял, и ушел к волне.

Но в это утро я гулял гораздо больше обыкновенного. А когда, через два-три часа возвращался домой, я с удивлением услышал, что причитанье птицы, потерявшей птенца, все еще сетовало и жаловалось там в запертых комнатах.

Веселая служанка, подавая мне завтрак, сказала тем довольным торжествующим голосом, который бывает у людей, раньше других узнавших важную новость:

— Мосье знает? Объявлена мобилизация, и наш сосед-офицер уже уехал.

Бедная птица! Бедная, бедная птица с заглушенным голо-сом понимающей плакальщицы!

Но я недолго думал об этой молодой жене, потерявшей своего мужа, и конечно, потерявшей его навсегда. Исполинский призрак падвинувшейся войны тогда показался мне прекрасным и грозно-освободительным.

Лучше, казалось мне, вынести самую страшную, тяжелую борьбу, лучше принести на алтарь достижения самые многочисленные и тяжелые жертвы, чем без конца дышать зараженным воздухом угрозы, все время, изо дня в день, днем и ночью, знать, что враг тут, враг и насильник рядом, за стеной, кует, точит, острит свое оружие, грозит; издевается, лжет, обманывает, давит, нагличает.

При одном клике «за Родину!» каждый, кто любит свободу и красоту, каждый, кому дороги представления о вольности личности и независимости расы, о родимой земле и красивом чувстве, с радостью бросит свой дом, своих милых, свою заветную работу, и пойдет биться с врагом.

Именно таким чувством мгновенно прониклись все французы, когда раздался первый клич войны. Кого где застала эта весть, там он тотчас же прощался с обычной своей обстановкой и без малейших промедлений шел к исполнению своего великого долга. К кому весть эта приходила, когда он был на поле, он бросал то, что было у него в руках, и бежал с поля с такой готовностью и такой радостью, как-будто он бежал на праздник.

В этом всеобщем единодушии и всеобщей готовности принять тяжесть, посылаемую судьбой, было что-то из древней красоты, когда не было деления на военных и невоенных, когда каждый мужчина знал, что значит война и что значит враг.

Те лица, которые были безразличными, быть может, плоскими и неприятными в вечной повторности будничной, стали сосредоточенными, просветленными, красивыми. Те люди, которые могли говорить, что война оторвала их от радости, только что начавшейся, или от труда, который был второй жизнью в жизни, в немногословном прощании не являли никакого сожаления, никакой прижимки, зажимки,

утайки. И та воспитанность чувства, которая есть у каждого француза, не позволила чувствам скорби принимать чрезмерную форму. О, эти живые щебечущие женщины, знающие, как радостны поцелуи и смех, умели не плакать, провожая любимых, чтобы любимым было легче уехать, чтобы любимый не унес в сердца воспоминанье задрожавшего голоса и опрокинутого лица, как воспоминанье последнее.

Я помню, как целый поезд с уезжавшими на войну отходил однажды из Сулака в Бордо. Я видел, как бросали цветы в уезжающих, как целовали и обнимали их, как весело посылали им прощальные приветствия. Меня поразило, что среди этого множества лиц девушек и женщин, что отпускали к смерти своих любимых, не было ни одного лица, на котором медлила бы непомерность горя. И вот, когда поезд со свистом ушел, когда толпа стала расходиться, — как жутко было смотреть на одну молодую женщину, которая упала, и которую мы понесли как труп в ближайшее кафе. Ее родные как бы извинялись перед другими. «Ей не нужно было так надрываться и провожать его на вокзал» — говорили они. — «Она не вынесла, увидев его уезжающим».

Нет, она вынесла. Она смотрела ему глазами в глаза и дала ему радость провод. Лишь, когда поезд ушел, она почувствовала, что и вся жизнь, жизнь жизни, ушла от нее, и она рухнула, как мертвая. И когда говорят, что французы народ холодный, я вспоминаю эти проводы, и вспоминаю, как смотрели несмотрящие полузакрытые лунатические глаза этой юной женщины, впавшей в обморочное оцепенение.

И потом в Париже. Не красиво ли то, что столица веселья сумела сразу, без колебаний, принять спокойно-строгий лик, серьезный, суровый и чуждый веселья. Как-будто самая раса французская, столь подвижно-насмешливая, столь улыбочиво-веселая, изменилась. Без скорби похорон, торжественность траура, самовзвешенность решимости, глубокое всеобщее сознание, что нужно нести и донести тяжелую полную чашу, из которой не должно уронить ни одной капли.

В том, что за весь этот год в Париже и Франции я не видел ни одной грубой и ни одной чрезмерной сцены; в том, что души умеют ходить здесь тихонько, когда это нужно, ступая чуть слышно, а губы, всегда умеющие говорить слова, умеют сжиматься в должном молчании; в том, что с восьми

часов вечера каждую ночь, — столица мира, — Париж мог погружаться в глубокий мрак, и громадами темных домов своих походил на художественно-прекрасный огромный мертвый город, являл лик потонувшего в веках молчащего Вавилона, в темной тишине которого реет и деется таинство вседружных свершений и действенного безглаголия; в том, что юные бойцы, вернувшиеся из огненных ужасов Чистилища, могут проходить по этим улицам с деревянной ногой, но лица их светлы, и я, посторонний зритель, не могу не видеть, что этот их образ лишь прекрасен, — во всем этом чувствуется, что Париж — великий город, что французы сильный народ, умеющий в великую минуту грозы изобразить в своем лике грозное, и так как истинный художник всегда любит трудности выполнения, народ-художник не отступит перед своей исторической задачей и, отбросив дикий напор звериного, еще более четко закрепит свой лик хранителя великих заветов красоты.

РОЗНЬ

Писать письма из Парижа в Ригу. Кажется, это совсем простое занятие. Письма, наверное, будут доходить. После долгого расстройств самых основных человеческих взаимоотношений, хоть почтовая связь как-будто беспрепятственно осуществляется между разными странами. Письмо совершит свой путь через промежуточные страны, и, может быть, нигде не будет по дороге предварительно вскрыто и прочтено каким-нибудь узаконенным почтовым соглядатаем. Можно не опасаться, что чужой ненужный глаз проползет по твоим строкам, где ты попытаешься приоткрыть чуть-чуть краешек завесы, скрывающей твою душу. Притом же те два свирепые чудовища, которые называются мировая война и русская революция, до такой степени обнажили все души, что обнажаться стало совсем естественным. И однако. Потому ли, что я в чем-то из очень старого мира, который не любил обнажения, — потому ли, что всюду, уже давно-давно, я вижу, за малыми исключениями, лишь враждебные и равнодушные маски, лишь глаза, полные холодного досмотра и непонимания, я, начиная о чем либо говорить, слышу в душе предостерега-

ющий голос: «Говори внешне. Говори, как другие. Не говори из души своей». Но никак не могу я слушаться этого разумного голоса. Все мне кажется, что можно приоткрыть чуть-чуть оконце своей души, и меня будут слушать так, как я буду говорить, будут слушать только те, кого я хочу своим сердцем, упрямым и верящим в дороги любви.

Быть может, трудность вот этой минуты происходит оттого, что вовсе не о Париже я хочу говорить сейчас, а Моря хочу, о Море думаю, о вечно-живом, вечно-новом и неожиданном Океане. Морские волны мечты уносят меня туда, именно в Ригу, где я был только раз, но где мне было гораздо лучше, чем здесь. Незадолго перед роковым 1917-м годом я приезжал в Ригу, на два-три дня, прочесть какую-то лекцию, — какую в точности уж не помню, — и было это время совсем непохожее на проклятое теперь. Люди любили подходить друг к другу, умы раскрывались, как цветы весной, у одного человека не было другому ножа, и пули, и вражды, и подозренья. У каждого для каждого было, — у меня во всяком случае для каждого было, — открытое сердце, — без обнажения, открытая душа, — ежеминутная готовность откликнуться на зов, и было радование человека человеком, был тихий восторг задумчиво идти живописными улицами старинного неведомого города, оваянного историческими воспоминаниями и вольным духом, крепящим воздух моря. Я был с любимой там, в чужом городе, который явился вовсе не чужим, — там, где на звучный зов мой воскликнули сердца и откликнулись.

А здесь... А теперь... Если б даже был у меня голос исполнена, не почувствовал бы я, что можно людские умы и сердца собрать воедино, как собирают в богатое единство полновесные зерна ржи из тяжелого снопа, и в свежую единую красоту, пусть невзыскательную, но веселящую и живую, собирают для радости минуты, желтый к красному и синему, много полевых и луговых цветов.

Рознь и вражда — вот ключ наших дней. И еще будет расти эта рознь, и еще будет обостряться вражда неисчислимая, пока снова не повеют прыгающие ветры перед новой грозой. Дождемся ли мы радуги? Этого не скажет никто.

Если рознь обуяла умы везде, вряд ли нужно искать более законченной розни, чем та, которую, в оправе кажущегося

спокойствия, можно видеть здесь среди русских людей, живущих в прохладном Париже, испокон века равнодушном к чужестранцам. Время от времени, после нового горестного разочарования, я спрашиваю себя: «Почему и зачем живут здесь русские? Мы глубинные, а здесь по всему тому, что нам неисчерпаемо дорого, скользят и проходят мимо. Зачем живу я сам здесь? Неужели меня может сколько-нибудь утолить вежливость — там, где хочешь доброты, маленькое внимание — там, где приносишь все свое я? И почему, очутившись изгнанниками, русские, вместо того, чтобы сплотиться и образовать из себя духовную силу, с которой нельзя было бы не считаться, продолжают взаиморознь, взаимобрань, взаимоклеветничество, взаимоосуждение, и не могут и не умеют создать никакого духовного средоточия, к которому тянулись бы и приникали разные горести, разные мысли, разные воли, образуя единую волю, творящую?»

Я спрашиваю себя и других, но ответа на этот вопрос нет. С доисторических времен своеволие без истинной воли было нашим судьбинным клеймом. В раме своей страны и своей исторической жизни, эта черта, создав много памятных несчастий и унижений, создала и поразительные достижения, свойственные именно русскому. Среди таких достижений есть у нас протопоп Аввакум и Достоевский и много, чего не сочтешь. В раме изгнанничества, эта черта есть бессилie, бесплодие, увяданье бесполезное.

Своекорыстное расслоение. Нет слова связующего. Нет знамени, веянье которого позвало бы властно к достижениям. Нет людей, которым сердце стало бы верить, не спрашивая. А спросит, заскучает сейчас же, чувствуя неполноту, маленькую комнатную мудрость, уродливость головы, в которой будто бы и все как следует, на самом же деле глаза не во лбу, а в затылке. Видят только в бесполезной ретроспекции. Предвидеть не способны и увидеть текущего не могут.

А дни идут, и швыряют новые заботы и задачи, и готовят новую ставку душ. Если придет новая гроза, кто ее встретит? Если не придет, — в розни истлевающие воли просто истлеют до конца, до пепла, хуже: до чадного угашения.

Есть маленькие утешения в больших бедах. Дружба — одно из лучших. Но что есть дружба и что она? Если весь воздух роковых переломных дней полон движением ежеминут-

но меняющихся и ломающихся духовных ценностей, люди не видят друг друга и, привычно повторяя слова дружбы, даже не задевают этого великолепного кристалла. Ничего. Хорошо хоть на минуту поверить, будто с кем-то дружен.

Я иду к французскому романисту, одному из наиболее талантливых, к Эдмону Жалю. Его романы «L'Escalier d'or», «Золотая Лестница», «Le reste est silence», «Остальное — молчание», «Les profondeurs de la mer», «Глубины моря», и многие другие, правда, написаны очень изящно, и часто он видит души. Я звоню. Вот он сам вышел навстречу и улыбается. В прихожей его, прежде чем он открыл дверь, меня приветствуют своим чириканьем заморские птицы, а когда я вхожу, мне радостно видеть длиннохвостую птичку-вдовушку, сестру тех, что я видал во время своих дальних странствий в тропических и предполярных краях. Она смотрит на меня своим черным глазком, и я сразу чувствую себя опять в Новой Зеландии, где беззаботны красивые Маори, в Австралии, где живы еще и кенгуру и эвкалипты в плоскогорьях Явы, где еще дымятся вулканы. Жалю мне нравится не только потому, что он приветлив и умен, и не только потому, что он единственный из французов запросто говорит и о Тургеневе, и о Стриндберге, и об Ибсене, и о всех современных русских писателях, а из Достоевского, в разговоре, читает иногда наизусть целые страницы, — нет, скажу ли, он мне нравится особенно потому, что, хоть француз, он также и мало похож на француза. Не остроумничает, не говорит внешних вежливостей, любит говорить о чем-нибудь неожиданным, и обо всем умеет сказать что-нибудь особенное, совсем не стараясь быть оригинальным и превосходным. Правда, он провансалец, в его жилах пляшет, верно, не одна капля и крови сарацинской, и крови эллинской. На столе его лежат детские игрушки, сделанные русскими кустарями. Детей у него, однако, нет. На одном из столиков, среди китайской мебели, нечто вроде маленького святилища. Мое сердце вздрагивает. Наши русские иконы. А на стене, над ними, прекрасный портрет нашего страсготерпца, мученика глубин русского духа, Достоевского, о котором он говорит, что после Шекспира не было написано ни одного создания, столь замечательного, как «Бесы».

Мы говорим, мы молчим, и нам не неловко молчать. Я встаю и хочу проститься. Он сидит и ласково-капризно говорит: «Dites!» О, это пленительное непере译имое французское «Dites». «Скажите, ведь вы можете еще побыть у меня пять минут?» Я покорно сажусь и сижу в узорной беседе еще чуть не целый час.

Я иду один по чужой улице. Нет, моя душа не совсем одна. Хорошо человеческой душе коснуться другой души.

БЕЗ РУСЛА

Три года тому назад я уехал из Москвы и через Эстонию приехал в Германию, а оттуда во Францию. Выехать из Москвы, увозя с собой семью, — три женские существа, приговоренные докторами и голодом к смерти, — было очень трудно, почти невозможно. Мне, однако, это удалось, как удалось и Кусевицкому с женой. Мы ехали в одном поезде. Тогда еще не выпускали за границу никого, кроме своих. А ни Кусевицкий, ни я, мы своими не были. Наш отъезд был некоторым чудом, и как чудо мы его воспринимали. В Нарве мы еще не чувствовали себя уехавшими, или, вернее, впервые поняли, с чувством безмерной тяжести, спавшей с плеч, что мы в преддверии Европы.

Ревель — хоть и эстонский, все же еще и такой русский, по крайней мере три года тому назад, показался мне обетованным городом, именно в том смысле, в каком я когда-то радовался первому европейскому городу, в который я попал, покинув Москву или Петербург времен, ныне исчезнувшего, царизма. Какая ирония судьбы. Я дважды был изгнанником при старом порядке. В 1902-м году за стихи о Маленьком султани я, без своего желания, провел год в Европе; и после революции 1905-го года, после написания и опубликования книги революционных стихов «Песни мстителя», я провел вне России, без своего на то желания, семь лет. Я, считавшийся и бывший революционером, снова, в третий раз, после того, как в России осуществилась революция, живу уже три года в Европе, без малейшего к тому желания. Изгнанник ли я? Вероятно, а впрочем даже я и не знаю. Я не бежал, а уехал. Я уехал на полгода, и не вернулся. Зачем бы я

вернулся? Чтобы снова молчать, как писатель, ибо печатать то, что я пишу, в теперешней Москве нельзя, и чтоб снова видеть, как, несмотря на все мои усилия, несмотря на все мои заботы, мои близкие умирают от голода и холода? Нет, я этого не хочу. Но нет дня, когда бы я не тосковал о России, нет часа, когда бы я не порывался вернуться. И когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все-равно сейчас нет, мне эти слова не кажутся убедительными. Россия всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней правительство, независимо от того, что в ней делается и какое историческое бедствие или заблуждение получило на время верх и неограниченное господство. Я поэт. Я не связан. Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах, и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своими вещими шепотами тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев, поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки. Там везде говорят по-русски; это язык моего отца и моей матери, это язык моей няни, моего детства, моей первой любви, почти всех моих любвей, почти всех мгновений моей жизни, которые вошли в мое прошлое, как неотъемлемое свойство, как основа моей личности. Там говорят «до свиданья», «милый», «прощай», «люблю», и на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще весь мир казался добрым и вся жизнь казалась тайной.

Ах, мне тяжело. Мне душно от того воздуха, которым дышат изгнанники, косо смотрящие друг на друга и вечно друг друга подозревающие, совсем так же, как подозревают друг друга люди и там, в родных моих местах, в обезумленных, в обездоленных, в измененных. Мне душно и от воздуха летнего Парижа, где я никому не нужен и где ничто для меня не нужно.

Не думайте, что я зову кого-нибудь из уехавших или бжавших, из уехавших и оставшихся, из спасшихся от тяжелых мучений, может быть, смерти, — очертя голову, вернуться в

теперешнюю Россию, где право растоптано, где слово несвободно, где нет первооснов человеческой справедливости. Нет, я говорю только о себе, и да будет же мне, хоть здесь в пустыне, даровано безраздельное право быть собой, быть поэтом, чувствовать иначе, чем другие, и иначе мыслить, и иначе поступать. Я говорю только о себе, и не делаю никаких общих выводов.

Здесь, в свободной, будто бы свободной, Европе я чувствую себя, душевно, таким же связанным, каким я чувствовал себя в последний год в Москве, где я жил бок-о-бок с навязавшимися мне жильцами, нагло распорядившимися в моей квартире, где я голодал, где я говорил иногда моей девочке, бессильной заснуть: «не плачь: завтра, быть может, мы поедем». Моя девочка стала за эти три года красивой девушкой, живой и остроумной. Я уже не говорю ей, — за ненужностью, — таких утешений, а когда подходит нужда, — она все же не такая острая, — и если нет денег на настоящий обед, можно сварить суп из старого недоеденного хлеба. Но здесь мне тоже нужно произносить и перед ней, и перед другими близкими, и перед близкими-далекими, и перед самим собой, много разных утешений, в которые не веришь и которые не оправдываются. Основное остается, как правило жизни каждого дня и каждого нового тяжелого месяца. Это основное: я на чужбине, я вне действительной связи с душою здешней жизни, и я вне действительной связи с моей Матерью, с моей Родиной, хоть от меня туда, и оттуда до меня, доходят веяния души, доходит голос сердца, которое бьется, еще живо, не умерло, но бьется тяжело, с мучением, которому исхода не вижу. И вот, чем дальше иду я по дорогам чужбины, тем слабее моя связь с моей родиной, и тем чаще я спрашиваю себя с горечью: не лучше ли быть мне в тюрьме — там, чем на свободе — здесь? И действительно ли я здесь — на свободе?

Русла нет. А река без русла разве свободна? Она плещется и разливает свои воды, где и не нужно. Даже реке необходимо русло. А изгнанническая жизнь даже и не река в разливе: много беднее, гораздо менее в ней красоты и содержания.

К чему же мне прильнуть? Я поэт и человек. Нет мне места, как человеку и поэту. Сколько бы литературных достоинств ни было в моем творчестве, оно не нужно, если я не в

близости с той или иной политической группой, а возможности печататься находятся в руках тех или иных политических групп. Когда в 1920-м году, в Москве, меня, по причине некоего ложного доноса, будто я в стихах, где-то напечатанных, восхвалял Деникина, пригласили вежливенько в Чека и между прочим дама-следователь спросила меня: «К какой политической партии вы принадлежите?» — Я ответил кратко: «Поэт».

Это не был ответ экстравагантный. Это был простой возглас сердца. Да убирайтесь вы от меня к черту, все политические души, смотрящие на мир с политической точки зрения, не видящие, что мир больше и шире, и выше, и глубже и вовсе иной, чем говорит ваша политическая машинка, которая своим однообразным в разнообразии, скрипучим треском и шумом свидетельствует, что гармония мира вам чужда и что вы бессильны овладеть творящими силами жизни.

Мне с политическими группами делать нечего, каковы бы они ни были, коммунистические, монархические, гомеопатически-социалистические, то бишь, кадетские, и прочая, и прочая. Я человек и поэт, и потому на ваших праздниках и в сплетениях ваших немногих, но существующих возможностей и удобств — мне нет места. Иногда что-то из моих слов и настроений случайно подойдет для того или иного печатного органа. Тогда меня печатают. Потом, как бы ни было дорого моей душе то или иное художественное мое достижение, я после долгой литературной дороги, я, слышавший много раз приветственные слова от самых высоких душ разных стран Земного Шара, вижу от политическая редактора литературного журнала такое отношение к себе, которое трогательно напоминает мне дни моей юности, когда солидные московские либералы находили, что я не лишен дарования и подаю надежды.

Не должно думать, что эти слова мои свидетельствуют о моем унижении. Нет, мне кажется, что тут унижен кто-то другой, тут в поношении нечто совсем иное, и в таком поношении, что, если об этом думать не поверхностно, можно придти в ужас. Без преувеличения и без преуменьшения, я слишком хорошо знаю, кто я. Мое, за всю жизнь отъединенное, внутреннее устремление дает мне возможность спокойно говорить о себе, как о третьем лице, и на примере этого

третьего лица указать на вопиющую чудовищность некоторой неправды, которой быть не должно. И вот я свидетельствую, что, если в Москве, в течение трех лет, 1918—1920, я задыхался от невозможности быть собой и говорить полным голосом, я задыхаюсь от того же и здесь, в русском и французском Париже, по соседству с русским и немецким Берлином и людоедски-своекорыстным английским Лондоном.

Говорить все, что думаешь и чувствуешь до конца — или не говорить вовсе. Говорить только часть — или не говорить вовсе, это для меня означает, равно, пытку и душевное унижение. И я еще не смогу утверждать, что не говорить вовсе, по существу, хуже, чем говорить часть. Ибо, когда молчишь, в этом может быть, от уменья по-настоящему молчать, странный душевный крик, который слышен даже разбойнику, слышен и действует. А когда говоришь лишь часть, невольно искажаешь правду, невольно рисуешь искаженное изображение, невольно и преступно лжешь. Это не всегда, конечно, но так бывает. И в жизни без русла бывает слишком-слишком часто.

Зачем я все это говорю? Не зачем, а почему? Потому что, когда человеку очень трудно, он может вздохнуть и даже, хоть бы он был выносливый и сильный, застонать.

Я за всю свою жизнь убил одну только птицу. В гимназические дни, однажды, у себя в саду, застрелил из ружья певчего дрозда на рябиновой ветке. Мне до сих пор тяжело вспомнить об этом преступлении.

Я живу сейчас в мире, который, грубо захмелев от преступно излитой им несчитанной крови, только и делает, что брызжет на душу грязью и кровью и слепо убивает певчих птиц.

ВЕСНА

◀Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна, пора любви...▶

Я не помню, когда я в первый раз прочел эти бессмертные строки Пушкина; я начал читать его, дивясь и восхищаясь, еще в детстве. Но я помню и знаю, что я на всю жизнь их запомнил, их и дальнейшие строки, когда мне было шестнад-

цать лет, когда в конце марта родная река в моем родном городке уже готова была вскрыться, чтоб нести свои вздувшиеся воды в другую реку, впадающую в Волгу, а Волга уж понесет их далеко через целую половину России, до самого моря, до зеленого Каспия. Все небо тогда было тяжелым от тревожных облаков синевато-свинцового цвета. Весь воздух внушал жажду любви, нужной близости с желанным существом. И, быть может, желанное существо было, но было далеко. И, быть может, желанное существо было только в воображении и чудилось в каждой женщине, в каждой девушке, на одну минуту, чтобы сейчас же ранить мое сердце внутренно сказанными или только почувствованными словами: «Нет, не то. Нет, не она». Голуби ворковали без умолку. Голуби кружились около голубок, всплескивая своими вольными крыльями, улетали, прилетали, ворковали, любили, любилась, рассказывали свою сказку, манили и мучили сердце, которому в этой сказке не было места. За окнами слышались знакомые голоса, но они были по-новому задорные и свежие. Иди же, сердце, и люби. Любовь повсюду, она ждет. Но неискушенное сердце никуда нейдет без зова, оно слишком, оно слишком робко. Вот стает снег совсем. Тогда. Но тогда, пожалуй, еще труднее будет найти слова, подобные песне. Разве у жаворонка научишься смелости. Ведь, он с песней летит прямо к солнцу. Разве у соловья научишься нужному упорству. Ведь целую ночь он поет, и слушает его не только его любимая, но целый лес.

Весна всюду и всегда хороша. Она — раскрытие тайны. Она — причащение и приникание к силам подземным, земным и небесным. Весна — тот праздник, для которого стоит тосковать и томиться много месяцев, много зим, вынести много изгнаний.

И много весен я узнал в самых разных местах земного шара. Но, если встречать весну не в русской деревне, быть может, лучше всего ее ласково встретить во всемирно-прославленном Париже, ибо весною этот город вдвойне умеет быть чаровником.

Умеет? Неужели я так сказал? Нет, умел. Больше не умеет, ни весной, ни зимой, никогда. И не только Париж. Всякая столица, любой город. Города, достойные зваться городами, давно сошли с ума. Выйди на улицу, походи на большие буль-

вары, которыми Париж гордится и даже кичится, доберись до знаменитой Площади Согласия, с ее египетским каменным псалмом Солнцеклонничества, стройным обелиском. Эта Площадь Согласия великолепна, как безмерная бальная зала. Бульвары сияют пышностью и роскошью витрин, ликут всегда от некончающегося движения и деятельности. В каждой улице, — это прекрасно описал еще Бальзак, а до него и другие, — есть свое отдельное собственное лицо. Но нигде в Париже не спасешься от противного мерзостного автомобильного гудка. Всюду бешено несутся нелепые, вонючие, гремучие ящики, все назначение которых умножать сумасшедшую быстроту передвижения едущих, с полным стеснением свободы и спокойствия идущих. Перейти с тротуара на тротуар — событие, не всегда кончающееся благополучно. Нет дня, чтоб в Париже не был кто-нибудь ушиблен или убит автомобилем. Ведь эти гремучие подвижные ящики всегда пьяны своим ненужным бешеным бегом к выдуманному ложным целям. Да если бы даже и не швыряли они прохожих о камни, если бы они не уродовали и не убивали прохожих, каждую минуту стерегущихся и думающих с насупленными бровями, как бы это пройти, не оглядываясь, две сажени, — разве именно вот это извращение такой естественной и необходимой, и красивой вещи, как прогулка и ходьба, соединение ее насильственное со страхом, с опаской, с оглядкой, не есть нечто, подобное кошунственному устрашению, создаваемому в России для всех честных людей современными тамошними опричниками? Ты хочешь порадоваться весеннему дню и солнечному свежему воздуху, а тебя заставляют воровски перебегать улицу, дудят тебе в уши и справа, и слева, и спереди и сзади, и вдобавок, в награду за твой рабски быстрый перебег, пускают тебе прямо в лицо клуб невыносимой вони, преследующей тебя не одну минуту.

Я люблю Париж давней преданной любовью. Но, говоря о Париже в лице положительном, я всегда разумею тот прежний Париж, который я узнал двадцать пять лет тому назад.

Какая красота — конь, это — самое красивое существо живое. Какое счастье — жить в гигантском городе, который, кроме шума, любит также тишь, и в самых громких уличных звуках соблюдает размерный музыкальный строй. В топоте копыт многих-многих лошадей есть мерная музыка, пра-

вильный размер стиха, написанного Лермонтовым, написанного мной, — не свихнувшегося стиха, измышленного современным взбалмошным стихотворцем. И прежний Париж, как прежняя Москва, две мои любимые мировые столицы, любили лошадь, уважали коня. Нигде в мире, когда-то, — я не видал таких прекрасных коней в больших числах, как в Москве и в Париже. Разве еще в Аравии.

Когда Аллах, создав красивый мир и увидав, что не хватает в нем чего-то самого красивого, возжаждал еще минуты верховного творчества, он протянул свою десницу и схватил горсть воздуха. Так возник арабский конь. Ветер есть воля, полет и песня. Сколько ни слушай, ветер не надоест никогда, ибо его песня — божеская и бесконечная. Сколько ни слушай волнующую музыку, которая таится в конском ржанье и в топоте копыт, не устанешь и не насытишься этим достаточно, потому что тут душа приникает к источникам жизни, к таинству великого единения человеческого и звериного, человеческого и божеского. А машина — от человека. Тут тавтология. Скука кружения в самом себе, в себе механическом, в себе негармоничном, в себе мертвом. Машина — от человека, и еще от Дьявола. Поэтому-то каждая машина, раз возникши, непременно хочет в сумасшедшем скрипучем усилии, расти до уродливых размеров, часть превратить в целое, и, будет ли это автомобиль или граммофон, машина издает только подлые звуки и говорит поддельным языком.

Скромная ли гнедая лошадь простого извозчика, этого «кошэ», который в данное время встречается раз в несколько дней, — или могучие тяжелые фламандские грохотуны, похожие на наших битюгов, — или тонконогие выездные кони, танцующим бегом уносящие нарядную коляску в Булонский лес, не оскверненный ничем грубым, — все было изящно в соединении человека со зверем тогда... тогда... когда манило любовью нежное и грустное явление весны.

Первые благовестия весны в Париже. Они всегда бывали одни и те же, они не изменились и теперь, только стали менее четкими: больше стало того, что их портит, видоизменяет. Три вести весны. Домчавшийся издали волнующий ветер с моря. Он доносится неотрицаемым свежим дуновением иногда и зимою. Но зимой в нем нет чего-то, такого зовущего и освободительного. А вот повеет ветер с моря в конце фев-

раля или в начале марта, и чувствуешь, что зима прошла, хоть будет еще идти дождь с градом и будет еще не морской, а земной ветер долго петь по ночам в твоём камине, шелестя железной заслонкой и горько упрекая твою душу, что бросил ты родную землю, что там по-иному поет ветер.

Вторая весть — пение канарейки на улице. Едва только настанет первый теплый день в Париже, дают подышать этим солнечным птичкам свежим некомнатным воздухом. Парижанка ставит клетку с канарейкой на балкон или вывешивает ее за окно, и заливается весело птичка с теплых островов. Как хорошо тогда идти по улице и слышать этот переливчатый птичий голос. Улица перестает быть улицей. Кажется, что детство вернулось, и прохожие, даже при сдержанности французов, при их осторожности с незнакомым, нет-нет да и улыбнутся один другому, идя куда-то по делам и неожиданно услышав такой неделовой звук, в таком самозабвенном ликовании.

И третья весть — скромные букетики подснежников. Не в цветочных магазинах, где цветы не переводятся в Париже круглый год, и всегда богаты и краской и запахом, — нет, беленькие, бедненькие, тонкие букетики, в руках зазубленной девочки с выразительными просящими глазами. Несколько медных монет за цветы, которые первые захотели означить праздничную черту в годовом счете перемен. Эти цветики похожи на те медные монеты, за которые в нашей родной церкви мы в детстве покупали и ставили перед любимой иконой тонкие восковые свечечки.

Дни идут и солнце становится сильнее. Солнце проснется и в нашей жизни, такой убогой. Солнце приведет к нам нашу Пасху, нашу волю, наше возвращение, наш поцелуй с помнящими нас и любящими.

Я ушел от людей. Выбрал час, когда мало кого можно встретить в Булонском лесу. Дошел до своей любимой скамейки, у меня есть такая. Я сижу на ней, тихонько радуясь, и смотрю на спокойную воду длинного озера. Мне, конечно, нравятся белые лебеди, и Белого Лебедя я пропел давно. Но хочется мне признаться, что утки и селезни мне милее. Они уютней и роднее. У них доверчивые, давно мне знакомые, глаза, и такой довольный, радостью исполненный, голос. Помню я их, этих уток. В моей родной деревне, на пруду, я

радовался им: я хожу по берегу, а они плавают. Радовался цветистым перьям селезня. Помню, что десятки лет после детства я увидел изображения этих родных птиц на стенах египетских саркофагов. И вот, едва я это подумал, как одна утка, плескавшаяся в воде озера совсем близко от меня, взлетела, взлетела еще выше, поднялась очень высоко и полетала вдоль озера, как-будто направляясь к солнцу. На мгновение озадаченный селезень крикнул своим надводным голосом и сорвался, отделился от водной глади. Вон уж он где в погоне за своей любимой. Догонит, сейчас догонит, догоняет по воздуху, нежно и стремительно потеснит ее в полете, и вместе упадут они в родимую воду для слитной ласки весеннего счастья.

Моя мысль тоже улетала с этими существами, любящими воду и воздух, воду, которая есть зеркало для глаз, и воздух, который создает вихри. Жесток был тот вихрь, который унес меня далеко от родных мест. Но я слышу, как ветер, провеяв над цветущими вишнями и яблонями, тихонько треплет мои волосы, овеивает щеку и шепчет: «Будет же грустить: вернешься».

ГАДАНЬЕ

Когда, в 1921-м году и в 1922-м году, я в продолжение шестнадцати месяцев жил в Бретани, в Сэн-Брэвене Сосновом, недалеко от Сэн-Наэра, я, конечно, многое потерял из литературных возможностей, ибо, как верно гласит испанская поговорка, у умерших и ушедших нет друзей. Мои литературные сверстники устроили многие дела свои, которых я, живя один на берегу Океана, конечно, не устроил. Так, например, когда один парижский издатель захотел печатать русских авторов во французском переводе, мои сверстники сумели поместить у него по четыре книги, а один ухитрился поместить даже десять книг, я же, отсутствующий, сумел поместить только одну. Я радуюсь за своих сверстников, и не очень огорчаюсь за себя. Каждому свое. Я жил зато в непрекращающейся душевной связи с вечно-поющим, с вечно говорящим, с вечно-открывающим новые тайны Океаном, око-

ло которого внимательная душа никогда не бывает одинокой и бедной.

За эти шестнадцать месяцев я написал целую книгу стихов, написал кроме того роман «Под новым серпом», недавно вышедший в Берлине. И это далеко не все утехи и радости, которые я испытал в течение указанного срока в маленьком Бретонском местечке, в плохенькой вилле, — она, правда, была очень плохенькая, и зимой я жил там не в лучших условиях, чем в Советской Москве — так же нуждался, так же зяб и мерз. Но я был окружен деревьями, — но, засыпая и просыпаясь, я слышал песню приходящего и отходящего Океана.

Я, кроме того, целыми днями, совсем не видал людей. Это — великое счастье и великая душевная чистота. Для меня был живую убедительностью не такой-то надоедливый человек, который здесь, в Париже, только что опять позвонил ко мне и уселся в моей комнате, и целый час мучил меня бесполезными и неумными словами. Где найдешь умного человека? Таковых мало. Где найдешь гармоничную душу? Таковых теперь вовсе нет. А там, в Бретани, я встречал какого-нибудь виноградаря или рыбака, обменивался с ним двумя-тремя приветственными фразами, и мы расходились каждый в свою сторону, не обременяя друг друга рассуждениями о том, о чем рассуждать совершенно не нужно. Там для меня были живыми убедительностями — свист пролетевшей птицы, покачиванье вечно-зеленой сосны против моего окна, расцветшая в зимнем воздухе мимоза у моего крыльца, медленно разливающиеся краски вечерней зари, перламутровые, и хризолитовые, и золотистые, и розовые, и грустные, и родные; там вечно-убедительными были для меня широкие шелесты океанской волны, вскипающей, приходящей, бросающей хлопья пены на песчаное побережье, по которому я шел над самой водой, долго, часами, все вперед, ничем не задаваясь, ни о чем не думая, и однако думая обо всем, о чем стоит думать человеческой душе, которая любит высоту и волю, и творчество.

А когда, задумав много новых мыслей и ощутив веяние новых созвучий в душе, я начинал обратный путь домой, загоревшийся в потемневшей лазури тонкий серп новолуния уводил мечту мою домой, — не в этот бретонский мой временный домик, — а домой, в Россию, в детство мое, в юность,

в правду и в красоту, в мое чаяние возврата, в Новую Россию, которая будет, которая строится, как бы ни мешали ей случайные исторические затруднения и заблуждения. Ибо, конечно же, не только злые силы там работают над созиданием гибелей и лжей, но и силы творческие, которые, в конце концов, каким-то невидным мне образом, возобладают. А когда возобладает сила правды, не может быть, чтобы мне, поэту, любящему волю и творчество, не было места там. Не может быть, чтобы я, поэт, всегда ждущий нового в новом утре, всегда любивший и ныне любящий работу и созидание, не нашел применения своей личности в мире работающих и создающих.

Говоря с самим собой и Океаном, я иногда все же впадал в уныние, в тоску, даже в отчаяние. Мне хочется рассказать, как четырекратно, в такие темные минуты, чужой поэт, нерусский и неживой, осветил всю мою темноту. Нерусский? Разве поэты, будучи глубоко национальными всегда, если они чего-нибудь действительно стоят, не говорят одновременно и своим соотечественникам и любому иному слушающему? И разве поэт, достойный так называться, может быть когда-нибудь неживым? Если он ушел с этой планеты-Земли, он оставил свою книгу, свои книги, свои записи, летопись души.

Поэт, о котором я сейчас говорю, был образцовым мастером сонета, и звался Хосэ Эредия. Его книгу «Трофеи» я читал когда-то давно и почти забыл. Но, когда мне казалось однажды, в моих морских часах, что я забыт всеми, я раскрыл эту книгу пленительно написанных французских сонетов, и мне открылось: «Plus ultra». Я прочел и переписал по-русски:

Властитель человек в земле горячей львов,
И змеям, и ядам черта — его законы.
По золотым следам, где мчались галионы,
Встревожив Океан, он — царь среди валов.
Но далее, чем снег, и дальше всех ветров
Мальстрема страшного, Шпицбергенов где склоны
Бесплодны, полюс шлет волны чуть слышной звоны
На остров, где не встал никто из моряков.
Плывем. Я разломлю преграду ледяную.

В бесстрашном теле — вот — душа с своей тоской.
Конкистадоры — тень с их славой золотой.
Иду. Последний мыс, взойдя, я завоюю.
Пусть море, никому не певшее волной,
Мне, гордому, споет свою хвалу морскую.

Я долго смотрел на эти строки, и мне казалось, что это про меня. Да, напев обо мне, давнишнем, юном, торжествующем, странствующем, меняющем по прихоти своего сердца пребывание в Испании на побывку в Норвегии, месяцы в Южной Африке на долгие месяцы в зачарованном царстве Самоа, Тонга, Фиджи и Явы.

И, открыв книгу в другом месте, я прочел, горько усмехнулся и переписал по-русски:

РАБ

Вот, грязен, страшен, наг, отбросами кормим,
Я — раб — взгляни: клеймо, на теле знак, не скрою.
Но вольным я рожден над бухтой голубою,
В ней зеркало нашла гора верхам своим.
Счастливый остров мой. Зачем расстался с ним?
Коль Сиракузы ты, и пчел, и склон с лозою
Вновь узришь, возвратясь за лебедем весною,
Спроси о той, кого любил я, был любим.
Найди. Скажи. Я жив, хоть боль многострадальна.
Увижу ли ее глаза, фиалок цвет?
Лазурь небес родных — улыбкой в них — зеркальна.
А тонкий свод бровей победно в ночь одет.
С ней свидеться опять — иной надежды нет.
Ее узнаешь ты: она всегда печальна.

Мое чтение, наудачу, сонетов Эредиа стало мне казаться разговором души с душой. Так подошли к настроению и к моим обстоятельствам два эти напева. Конечно, если я сравню лучезарное мое прошлое, в России и в дальних странствиях, с моим пригнетенным, стесненным, никчемным теперешним пребыванием на чужбине, этот сонет — тоже обо мне и о той, кого я оставил в родных местах, о ком не могу не тосковать.

«А жива ли она?» — подумал я и снова раскрыл наудачу книгу. Она мне ответила:

ЮНАЯ УШЕДШАЯ

Кто-б ни был ты, живой, пройди меж трав скорей
Холма печального, где прах грустит мой, тляя.
И не топчи цветы, не трогай мавзолея,
Где слышу, как ползет и плющ и муравей.
Ты замедляешься? Чу, песня голубей.
Кровь голубиная да не мелькнет, алее.
Будь милым, пощади крылатого, жалея.
А жизнь так ласкова! Дай насладиться ей.
О, друг. Под миртою — ты знаешь ли? — ветвистой,
Супруга-девушка, на брачной я черте
Упала мертвая и лишь живу в мечте.
В глаза сомкнутые свет не дойдет лучистый.
Мне ныне суждено быть вечно в темноте,
Мой дом безжалостный — Эреб средь ночи мглистой.

«Если я потерял все мое дорогое», подумал я, «если схоронено все то, что моя душа любила, как жених любит невесту, и как невеста любит жениха, что же остается мне?» И снова Эредиа ответил мне:

МОРСКОЕ ДУНОВЕНИЕ

В раздольях дух зимы опустошил цветы.
Все обезжизнено. Лишь о скалу седую
Дробит Атлантика волну свою густую.
Последний лепесток дрожит средь пустоты.
И все же аромат тончайшей красоты
На ветерке морском ко мне доходит, чую.
Теплом он в сердце льет свою струю хмельную.
Дыханье странное, скажи, откуда ты?
А, узнаю его. Тысячеверстной дали
Пройдя голубизну, мечты Антильский брат,
Он, жаркий, долетит оттуда, где Закат.
Кимрийская волна под ним бледнее стали.
И на седой скале цветком дохнуть я рад,
Что где-то возростил — Американский сад.

Я закрыл книгу. Я ушел к Бретонским скалам. Я целую ночь до утра сидел на камне над волнами, и они говорили со мною внятным языком.

Здесь в Париже, в душном, в людном, в скучном, в чужом, даже и книги поэтов мертвы для меня, они раскрываются всегда на немой, ненужной для меня странице. Лишь ветер с моря иногда долетит и сюда, и говорит, что Океан сильнее суши. Да налетит иногда гроза с громом и молнией, и говорит мне, что и людские грозы, неизмеримо менее красивые, все же кончаются освежением воздуха. Этот голос убеждает меня, чтобы я подождал, не падал духом, потому что настанет час, и, уставши от грязи, крови, глупости и злости, люди дохнут свежего воздуха, увидят новое Солнце, скажут веселое «здравствуй» утру и вновь полюбят позабытое ими строительство.

УЛИЦА

Дом и улица, улица и дом. Что сильнее? Какая из этих двух сущностей более завладеет вниманием и всей душой, вопреки твоему убеждению и твоим обычным наклонностям?

Конечно, зимою сильнее дом, а летом улица. Это так просто. Зимой на улице часто неуютно, холодно или дождливо, а если и летом улица бывает неуютна из-за пыли и жары, так дома уж вовсе тяжело: душно, дышать совсем нечем, и притом же окна открыты, улица все равно ворвалась в комнату, гонит из нее, — ни говорить, ни читать, ни писать, грохот вошел и кричит: «поди-ка вон».

Я выхожу на улицу. Я иду, не зная, куда идти, по каменным тротуарам, разогретым безжалостными лучами чем-то взбешенного солнца.

Я живу в квартале, довольно странном по соединению совершенно разнородных человеческих элементов, совершенно не соприкасающихся один с другим. Это маленькая улочка в нескольких шагах от бульвара Пастэр. По соседству мастерские художников и ваятелей. По соседству институт Пастэра, где когда-то с Максом Волошиным я был у Мечникова, а совсем на днях разговаривал с бактериологами иными, нашим знаменитым Заболотным, итальянцем Мальфигано, поляком Данишем. Я естественными науками очень интересуюсь. И совсем по соседству какой-то завод, — из ок-

на моей столовой, премалюсенькой. Я каждый день смотрю на заводской двор, вижу пыльное здание завода, с лесами около него, вижу на дворе тачки, кучи щебня, кучи длинных новых досок, — верно, они душистые от свежего духа дерева, — и каждый день жалею одно одинокое зеленое деревцо, которое приютилось среди камня и железа на этом пыльном дворе и не хочет умирать, — запылится, смоется дождем и снова зеленеет в уголке. Вот туда мне больше всего хотелось бы пойти к рабочим, поговорить с ними, сказать им, что, хотя я одет немного по-иному, я ем то же, что и они, вина пью гораздо меньше, душевного спокойствия знаю в сто раз меньше и, работая, не обогащаюсь и не имею даже необходимого для себя.

Но как дойти к ним, хоть они и близко? Нет у меня такого таланта. Я смотрю на них и завидую, что они делают то, что кому-то определеннейшим образом нужно и необходимо. А мой тяжкий внутренний труд, биения моей мысли, метания моего чувства, построения моих слов, созвонности моей песни, — кому это, для чего это теперь? Это не нужно никому.

Но какие, однако, бывают странные рабочие? Должно думать, что и в этой области весьма неладно, хоть меня и уверяют многие, что именно рабочие ручного труда находятся здесь в данное время в наиболее завидном положении.

Я шел сегодня, не зная, куда мне идти и что делать. За несколько шагов передо мной, по тому же горячему тротуару, шло двое. Одеты они были неопределенно, возраст их был немолодой, и я, судя по их неторопливой походке и по их манере смотреть направо и налево и повсюду, принял их за бродяг. Вдруг один наклонился и, что-то подняв с тротуара, положил к себе в карман. «Ну, конечно», подумал я, «нашел, горемычный, какую-то монетку». Через мгновение он повторил движение, а еще через мгновение и другой сделал то же. Не ускоряя своих шагов и оставляя между собой и этими двоими некоторое расстояние, я стал следить за ними; они замедлялись — и я замедлялся, они шли скорее — и я шел скорее. Когда они повернули на другую улицу, я повернул и пошел вслед за ними. При повороте я рассмотрел в точности и удивленно про себя повторил цифру. Один подобрал пятнадцатый окурок папиросы, другой семнадцатый. Они под-

бирали окурки. Я шел вслед за ними, желая, во что бы то ни стало, посмотреть, чем это окончится, и попытаться выяснить, кто они, эти двое. Мне пришлось недолго ждать. Они вошли во двор ближайшей железнодорожной торговой станции, дошли до того места, где происходила выгрузка каких-то ящиков из товарного поезда и принялись за работу выгрузки. Я постоял несколько минут изумленный и пошел прочь.

Быть подбиральщиком окурков — определенная профессия. Я давно их видал здесь в Париже, подбиральщиков, но никогда я не видал подбиральщика окурков, который одновременно был станционным выгрузчиком. Когда-то, за много лет до войны, я часто сиживал, один или с кем-нибудь, за стаканом вина, на больших бульварах. Между четырьмя и шестью пополудни всегда двигалась тогда очень живописная, определенного состава, нарядная толпа, вниз и вверх по бульварам. Теперь эта определенность и, вообще, качества движущейся толпы весьма спутались. А тогда, в каком-нибудь 1900-м году, или 1912-м, я, как человек толпы Эдгара По, любил те места города, где оживление наибольшее, и, как Эдгар По, я любил смотреть на движущуюся толпу и умел угадывать лица и тождества. В этом очаровательном золотистом воздухе кончающегося дня, после долгих часов чтения интересных любимых книг и писания заветных страниц, так хорошо было сидеть где-нибудь на Итальянском бульваре, чувствовать ликующий Париж с его остроумием, смехом, мыслью, деятельностью, беспутством, пестротой всех народов и званий, и темпераментов, и отдельных судеб, скользить глазами по страницам душ, на минуту приоткрывающихся в смене лиц и фигур. Мне всегда становилось жутко и неудобно, мне всегда становилось как-то совестно за свой стакан хорошего вина и за свою египетскую папироску с золотым обрезаем, когда мимо моего стола, мимо соседних столов, осторожно пробиралась определенная фигура неотрицаемого свойства. Этот призрак был подбиральщик окурков, у него висла сбоку некая торба, в правой руке было некое орудие, подобное палке с металлическим наконечником, и во всем этом человеке всегда было нечто, напоминавшее неудачника-алхимика. Какие-то пустые глаза, слишком долго смотревшие туда, откуда не пришло желанное. Какая-то камен-

ная озабоченность лица, возраст которого неопределим, и бедствия которого, давно пройденные, как-будто измеряются сотнями лет.

Однако. Там на больших бульварах города Парижа, даже и в таком ремесле есть чем поживиться. На бульварах много курят сигары. Много около кафе окурков сигар, а есть и потерянные вещи, и потерянные монеты, у золота есть отсвет вехи необманчивой, и мне сказывали, что среди этих неудачных алхимиков своей судьбы попадают иногда такие, что в их лачуге, после смерти, находят целое состояние. Пусть это бывает раз в столетие или в четверть века. Тут, уж от присутствия в ряде неудачников одного сказочного счастливица, на всех падает какое-то ободрение, признак отмеченности.

А спрятать в собственный карман двадцать окурков от той дешевки, которую курят в этом квартале ученых, художников и рабочих, — прекоротеньких окурков папиросы капорала или мэрилэнда. Вот так добыча. И таскать после этого тяжелые ящики. Совсем неудобно.

Быть может, то, что я увидел, случай единичный. Не знаю. Быть может, это лишь один из бесчисленных примеров того сдвига вниз, того рокового всеобщего изменения, которое произошло везде в Европе, после этой проклятой чудовищной войны, показавшей, что в европейце зверь сильнее человека.

Париж не тот. В самом характере народном — изменение, и к худшему. Никогда больше, идя по улице Парижа, где бы то ни было, не слышишь того перекрестного дождя шуток, смеха и остроумия, который раньше составлял одно из главных очарований парижской улицы, указуя народ веселый, умный, жизнерадостный, мгновенный в своей находчивости, изобильный на острое слово. Шутки больше нет, или же она тупа. И за все двадцать лет, раньше я ни разу не видал на улице, в кафе, или на станции того прискорбного зрелища, которое вижу теперь чуть не каждый день. Смертельно пьяного человека. Пьяного по-нашему, по-скифски, так что всем кругом страшно от него.

Что-то произошло, что было чрезмерно даже для такого сильного и гармоничного народа, как французы. Слишком много было жертв, слишком много было пролито крови, сво-

ей и чужой. И все громкие слова, которые сказаны были, не только для обмана, но и чистосердечно также, все обманули, все оказались мусором, нет больше правды; драгоценнейший дар, человеческое слово стало фальшивой стертою монетой. Никто нигде не сможет сейчас найти в себе такое слово, которое было бы благовестом.

Я прошел всю линию бульваров, томясь и скучая и не чувствуя себя связанным с кем либо, или с чем либо. Я сел в трамвай и доехал до высокого Монмартра. Я около базилики Сакре-Кёр. Высокий белый сон. Почти наш, почти Византийский. Могучий колокол, хоть несравнимый с московским царь-колоколом, но самый большой колокол Франции. Хорошо, что он на самой высокой точке Парижа.

Вот он весь отсюда виден, могучий несравненный город, со своим величием, которое дорого не одним французам, со своим прошлым, которое свидетельствует о неукротимости человеческого духа, со своим очарованием неуловимым, которое притягивает одинаково русского и норвежца, негра и китайца, сиама и калмыка. И со своей нищетой, которую легче сносить в этом городе, чем в другом. И со своими огнями, вспыхнувшими там, и там, и там, далеко внизу, в безмерном человеческом муравейнике, где так же мало правды и справедливости в участках, как в любом людском муравейнике, но где отдельный смелый дух мыслит, горит, терзается, хочет и достигает.

ВОРОБЬЕНЫШ

Говорят, что все познается по сравнению. Неверно это говорят. Потому что, когда мы любим в первый раз, мы любим без сравнения, и нет у нас тогда для сравнения никакой еще основы. А первая любовь бывает всегда лучшая, и мы познаем ее, как лучшее, что может быть даровано и суждено человеку.

А когда пройдет целая жизнь и много у нас в руках всяких сравнений, — больше, чем хотелось бы иметь и знать, — мы, пробегая духовным нашим оглядом всю многоликость нашего опыта, все безмерное разнообразие виденного, видим и знаем, что да, мы были правы тогда, в нашем детстве или в

нашей юности, решив, что наша первая любовь — лучшее, что может случиться.

Первая любовь не непременно желанное лицо любимой, совсем не непременно девушка. Моя первая любовь — деревня, усадьба, где я родился и вырос. Моя первая любовь — насыщенное Солнцем, весеннее утро, и я сам, лет четырех, сидящий на родном балконе и любующийся душистыми большими кустами лиловой и белой сирени, вокруг которых вьются безмолвные бабочки, желтые, белые и красноватые, и реют и мелькают с непрерывным звоном пчелы, такие мохнатые и добрые, злые красивые осы с тонкими талиями, огромные полосатые шмели, которые совершенно торжественны, и пестрые мухи, непохожие на тех, что звенят о стекла окон в доме.

Первый час моего сознания, долгий час, в одно слившийся мое утро, мое детство, с Солнцем, с весной, с цветами, с деревьями, с золотисто-голубым воздухом, с мелькающими веселыми живыми существами, которым хорошо и которых никто не трогает, — вот моя первая любовь.

Она менялась, любовь, многократно и много-разно, в нее входило все больше ликов и все больше сложности, но она не изменялась, любовь, ибо любовь измениться не может по существу своему. Она меняет только свою степень и свои одежды. Любовь первая есть и последняя. Любовь одна.

Сидя у своего парижского окна, я смотрю на серые стены домов, только что омывшихся дождем, вспоминаю великолепный стих где-то потерявшегося в пространстве моего друга Максимилиана Волошина:

«В дождь Париж расцветает, как серая роза», — и, видя, что небо много выше крыш и что оно, как в детстве моем, такое же голубое и неувыдаемо-красивое, я тихонько думаю, что, пожалуй, душа моя всю жизнь питалась и сейчас насыщается тем первым утром, той первой любовью, — выросшей из этого бессмертного утра способностью любить мир и живые существа и знать, как это в свой час узнал Магомет, что любоваться красотой — творить Дело Божие.

Я люблю деревню и не люблю город. Нет, это не так. Город я тоже люблю, но любовью мучительной, и она исчерпывается всегда в очень короткий срок. Если бы у меня была свобода выбора, я поселился бы опять в родной глуши или

на берегу Океана. В родную глушь дорога отрезана надолго, быть может, навсегда. На берегу Океана снова очутиться легче, но, волей исторических обстоятельств, я нищ, и неукоснительная необходимость заставляет меня жить в городе, где есть хоть небольшая возможность заработка. Кто любит природу и живые существа, нечеловеческой жизнью живущие живые существа, тот всегда в городе томится, видя в нем мертвое сцепление камня и металла, пыльное торжище, безмерный погост живых привидений. Непостижимо упорна преданность детских привычек. Если здесь, в Париже, иногда, как-будто чудом, я утром услышу, полупробужденный, звонкое пение петуха, я слышу этот звук, как благословенье, как весть из мира, в котором только счастье и нет шатаний и колебаний, совершенно неизвестны сомнения. Но услышать петуха в Париже почти так же трудно, как услышать пение Жар-Птицы. Легче услышать страстные вопли кошки ночью, и даже этому звуку радуешься, как природному звуку, непохожему на свист локомотива, на грохот трамвая, на уродливые шумы других проезжающих экипажей. Живые существа исключены из городского обихода, или, если они возникают, то возникают в лике искаженном. Собака — в наморднике. Птица — в клетке.

Мне было любопытно заметить собственное ощущение. Однажды как-то в нестерпимо жаркий июльский день я шел один по какой-то пустынной улице. Прохожих не было. Все спрятались от зноя, кто куда. Я шел, возвращаясь домой, после нудных бесполезных хлопот о чем-то, и эта пустынная улица мне скорее нравилась полным отсутствием людей на ней. Это уже походило на природу, весьма пустынную, конечно; но и пустыня хороша. Внезапно, из одного отверстия, одного из тех, что зияют над скрытыми под улицей и тротуаром сточными трубами, выползла преогромная крыса, не торопясь прошлась около тротуара, по которому я шел, сажени две, и скрылась в следующее отверстие. Видно, что мало у меня радостей от живых существ, живущих не по-человечески, — а также и от существ человеческих, — если даже этой безобразной крысе я обрадовался по-настоящему. Хоть бы поговорил с ней, если бы только умел. И вряд ли она бы мне сказала вещи, более глупые и более злые, чем кто-нибудь из человеков. Ведь язык глупости и злости среди людей всегда

имел успех, а ныне предпочтен перед всеми человеческими наречиями.

Кстати, о крысе и о злости. Здесь в Париже, однажды, — уже давно, — я видел такую сцену. Я жил тогда около храма Мадлен, на улице Боаси-д'Англя, в небольшом отеле, расположенном на широком дворе за оградой, и каждое утро ходил в Национальную библиотеку, представляющую из себя столь изумительное книгохранилище, где душа может знать без конца счастье искупаться во всех морях и во всех эпохах. Выйдя раз из дверей для ежедневного своего похода, я задержался на дворе, увидев странную группу. Несколько людей, господа и ремесленники, стояли с видом ликующим и заинтересованным вокруг отельного гарсона, который одной рукой держал клетку с крысой, а другой держал за ошейник порывавшуюся из неволи небольшую собаку. Прежде чем я успел понять, в чем тут дело, гарсон приоткрыл дверцу клетки, вернее, западни. Крыса не хотела выходить. Он ее вытряхнул, — она побежала. Тогда он спустил собачонку, и та в одно мгновение нагнала крысу, метким движением схватила ее как-раз посредине спины и перехватила ей пополам спинной хребет, при громком хохоте и гоготанье этих собравшихся мерзавцев. Побледнев от негодования, я быстро подошел к ближайшему человеку и хотел ему сказать резкое слово. Но я увидел такую ликующую насмешку на таком наглом лице, что, сцепив зубы, молча пошел прочь. В тот день ни одно из умственных сокровищ Парижской библиотеки не могло сделать меня счастливым и ясным. Мне, конечно, не неизвестно, что крыса очень вредное животное, и, если ее уничтожают, это вполне естественно. Но делать из этого истребления такую мерзостную забаву, поистине же это занятие — мерзавческое.

Я склонен думать, что женское сердце лучше мужского. Во всяком случае, другая маленькая сцена, которую недавно я видел здесь, недалеко от моей улицы, очень выразительна и годится для сравнения, хоть настаиваю, что не сравнение — путь познания.

В начале лета, я шел однажды утром по соседнему бульвару Пастэр. То было время, когда у многих птиц птенцы уже подросли и начали летать, перелетая с дерева на дерево. Труднее птенцам, еще неопытным, перелетать не с дерева на

дерево, а с дерева наземь и обратно. Такой неопытный воробьиныш легко делается добычей злого мальчишки, или кошки, или мимо бегущей собаки. И когда я шел, именно такой неискушенный птенец-воробей пытался, попав на землю, очутиться опять на дереве, где встревоженно покрикивали старые воробей и воробьиша, и никак не мог достичь желаемого. Взлетев на половину должной высоты, он, трепеща слабыми крылышками, опускался или, точнее, падал наземь. Это увидела из противоположного небольшого кафе служанка. Может быть, впрочем, это была дочь хозяйки, и потому она решилась, не боясь потерять клиентов, заняться воробышком. Она выбежала из кафе, без труда поймала воробьиныша и посадила на нижнюю ветку ближайшего дерева. Мало толку. Опять он свалился — земля его притягивала. Девушка снова помогла пичуге: посадила на ветку немного повыше. К птенцу слетелись старые воробей и воробьиша и начали его по-воробыному бранить и усовещевать. Девушка успокоилась, вернулась к своему кафе, но не вошла в него, а стоя около входа, продолжала с неотступной заботливостью смотреть на дерево, выжидая, что будет дальше. Дальше произошло страшное и прекрасное, настолько прекрасное, что позабыть это мудрено. Воробышек снова слетел, а слетев, перелетел на самую середину улицы и победно уселся на мостовой. В это время бешено несущийся автомобиль стал быстро приближаться к тому месту, где сидел воробьиныш. Было видно, что он как раз левым колесом, более далеким от кафе, раздавит птицу. Вдруг, — скорее, чем можно сказать «раз, два, три», — девушка, видевшая все это так же, как я, неподвижно стоявший на бульваре, — отделилась от порога кафе с такой стремительностью, как-будто она оттолкнулась от своего дома и, пробежав перед самым автомобилем, уже вот-вот набегавшим, схватила воробышка и спасла его. Он был спасен, этот избранный воробышек, и пущен в какой-то сад. Но то, что эта девушка не очутилась под автомобилем, я считаю безусловным чудом. И когда через минуту я прошел вплоть около этого кафе, я увидел, что теперь уже не старые воробей и воробьиша бранят и усовещевают воробьиныша, а взрослая дама и несколько посетителей кафе взволнованно говорят что-то девушке, которая стояла смущенная и счастливая.

Пока я пишу, мне приходит в голову, что я ни разу после этого маленького события не зашел в кафе и не попытался увидеть эту девушку и что-нибудь сказать ей. Но скажите мне на милость, что бы я ей мог сказать? Я сказал бы: «Если-б я был не нищим поэтом, а богатым сеньором, я бы подарил вам прекрасный замок с большим садом и подарил бы вам одновременно сто клеток с разными птицами. В самый солнечный день, когда цветут розы, от которых падала бы розовая тень на ваше лицо, мы с вами вместе целый день выпускали бы из клеток птиц на волю. А когда настала бы ночь, в ваш сад стали бы с неба падать звезды». И девушка, конечно, ответила бы: «Мосье хочет белого вина или красного?» И, быть может, лукаво улыбнувшись, она сказала бы еще с расстановкой: «Или, может быть, мосье уже выпил довольно?»

Нет, я не буду искать случая испортить красиво совершившееся. В прекрасных событиях хороша некоторая неоконченность.

И пока я пишу, уже настала ночь. Звезды не падают в мой сад — у меня больше нет сада. Но в расщелинах старого соседнего дома острым голосом поет сверчок, а в соседнем чужом саду голосом более мерным и умягченным поют цикады. Мне хорошо от этих звуков: они мне говорят, что жизнь еще не кончилась, что есть еще в мире существа, у которых нет сомнений и которым весело дышать и бросать свой голос в пространство.

Я смотрю на небо. Звезды разбросались. Звездный олень поднял свои рога и ведет мою мысль к Северу. Да пошлет Судьба той стране, которая дала мне жизнь, многотравные луга, плодородные нивы, счастливых людей, правдивые дни, несчетные стада коров с тяжелым выменем, звонкие табуны коней, что всегда так красивы были в России... «Это будет», отвечает мне одна звезда, которой захотелось упасть с неба на землю.

ГДЕ МОЙ ДОМ?

Это было в Москве, в 1920-м году, в один из тусклых зимних дней. И небо и земля были с утра затянуты всеразлитой дымкой, той странной и жуткой белесоватостью, которая

чем-то напоминает жуть бельма, лишаящего человеческий глаз нашего лучшего дара — способности видеть.

Снова я проснулся в холодной постели, в комнате, издавна промерзлой, ибо давно уже нам топить было нечем. Полу-раскрытыми глазами, чувствуя в душе и в теле утомление безграничное, я смотрел, и все кругом было так, совершенно так же, как это установилось уже много недель и месяцев. Я лежу на диване, в комнате, которая когда-то была моим рабочим кабинетом, а теперь стала учреждением всеобъемлющим. Рабочим моим кабинетом эта комната не перестала быть. Шкаф с книгами, — поэты и философы, книги по истории религий, много книг по естествознанию, — стоит на своем месте: этого у меня никто не отнял. На своем месте и письменный стол; на нем тоже правильные ряды книг и вчера оконченная рукопись, которая никому не понадобится. Она никому и не нужна. Это — нечто о древних мексиканцах. Против меня, у стены, где дверь, — моя кровать. В этой холодной постели, несколько согревая друг друга телесным теплом, спят два близкие мне существа. Моя девочка двенадцати лет, изголодавшаяся, ослабевшая, много недель не решающаяся выйти из постели в холодный воздух комнаты, и вовсе не выходящая из дому, потому что выйти не в чем, ее мать, делящая со мною мою жизнь и, несмотря на свои лохмотья, каждое утро бегающая на Смоленский рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь съедобы. Но, кроме пшена, что же добудешь? Тут же, около кровати, и печурка, на которой это пшено будет изготовлено.

Даятельница пшена проснулась и начинает кашлять. Она кашляет долго и с надрывом. У нее чахотка, и доктор говорит, что, если я не увезу ее за границу, она к весне умрет. Но на что же и как же уехать за границу? Я слышу в этом кашле какой-то посторонний звук, он кажется мне плачем. Я встаю, подхожу к письменному столу, отпираю один из выдвижных ящичков и вынимаю оттуда квадратный кусочек сахара. «Съешь», говорю я. Она с жадностью съедает кусок сахара, и кашель прекращается.

Это вчера, проходя по Арбату, я купил за непомерные монеты, у какой-то алчной бабы, три кусочка сахару весьма грязноватого цвета. Я знаю, что кусок сахара лучше всякого лекарства помогает от кашля. Я тайком запер к себе в стол

эти три куска. Остальные два пригодятся ей же, когда она, проснувшись, опять будет задыхаться от кашля.

Даятельница пшена, ободрившись, встала, оделась и так как у нее нет ни валенок, ни ботишков, она свои ноги, обутые лишь в тонкие туфельки, с тщанием и с большой находчивостью, начинает обертывать в какие-то неправдоподобные обмотки. Я смотрю, и в тусклом свете зимнего утра эта бледная женщина с исхудалым лицом кажется мне лунатическим призраком. Все ее движения — сомнамбулические, и я сказал бы — нелогически прямолинейные. Обмотки на ее ногах вызывают во мне чувство необъяснимого суеверного страха. Быть может, это оттого, что маленькие женские ноги стали непомерно большими? Нет, тут что-то другое. Я неотступно начинаю думать о том, как некоторые убийцы, будучи не в силах смотреть на свою жертву, тщательно укутывают ее, закрывая лицо убитого простыней. Я вспоминаю также, что, перед тем как человека вешают, его голову просовывают в какой-то, скрывающий его от мира, колпак, — говорят, похожий на капюшон инквизитора-монаха.

Дверь открылась и закрылась. Через минуту, я слышу под окном хруст удаляющихся шагов.

— Мирра, ты спишь? спрашиваю я девочку.

— Сплю, слышится вялый, медленный, тянувшийся ответ. И каждая из четырех букв этого короткого слова, с непомерным удлинением последнего гласного звука, начертывается для меня в холодном воздухе каким-то звуковым зацеплением. Мне начинает казаться, что мы где-то далеко на Севере, мы отправились к Полюсу, нас затерло льдами, у нас цинга, нам не может помочь никто, мы забыты, и только метель подает свой голос, бросая комья и хлопья снега в заледеневшее окно, с его морозными узорами.

Я встаю. Я твердо знаю, что единственная возможность не погибнуть и не пригнуться до земли в беде, это — решительное сопротивление. Несмотря на то, что в комнате несколько градусов ниже нуля, я снимаю с себя рубашку и моюсь с ног до головы. Я делаю это каждый день и только этим поддерживаю в себе бодрость и какое-нибудь жизнелюбие. Да и оставаться дольше в постели очень уж неудобно. Жители соседних комнат, наглые жильцы, самовольно поселившиеся в моей квартире, люди весьма вульгарные, подняли

свой гвалт и как-будто нарочно стараются быть тем более громкими, чем менее они имеют на это какие-нибудь логические основания.

«Мой дом», говорю я про себя не без горькой веселости. «Хотел бы я от кого-нибудь узнать, где мой дом, и где мои — могли бы быть со мной, не как собаки, которых, за неимением иного, загнали нескольких в одну холодную собачью конуру, и вот они там повизгивают, не восхищенные идеальным морозным воздухом».

А все-таки мороз красив. Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с ней быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И, хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу при встречах.

В тот день наше свидание было не совсем обычным. Проходя по переулку, я увидел лежащий на земле труп только что павшей лошади. Я наклонился над ней. Она была еще теплая. Быть может, всего час тому назад, всего полчаса, она перестала жить. Но кто-то уж успел отхватить от нее одну заднюю ногу, обеспечив себе не один сегодняшний обед. А в ожидании, что придут и другие люди, нуждающиеся в мясной пище, тощая собака с окровавленной мордой, пугливо озираясь и время от времени рыча, торопливо отгрызала от лошадиного тела кусок за куском.

Вороны каркали, перелетали и перескочком приближались к пиршеству, но не решались приблизиться вплоть.

Эта злая примета прогнала мою веселость, и, когда я постучался к Марине, я услышал, что за дверью кто-то бежит, но не торопится мне открыть. Я подивился и, обеспокоенный, постучался опять.

— Сейчас, сейчас, раздался веселый голос Марины. Дверь распахнулась, и моя поэтесса, с мальчишески-задорным лицом, тряхнула своими короткими волосами и со смехом сказала: «Вот что, Бальмонтик, идти ко мне в гости нынче опасно. Посмотрите».

В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в комнату Марины, был, частью, стеклянный потолок. Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись огромные

куски штукатурки. Это в верхнем этаже обвалился потолок, пробил стеклянный потолок залы, и тяжелые куски штукатурки от времени до времени еще продолжали падать.

— Я не боюсь, сказал я. И, взявшись за руку, как дети, мы со смехом быстро пробежали в ее комнату, под угрожно-зиявшим обезображенным потолком залы. Головы наши остались целы. Очевидно, они еще зачем-то были нужны Судьбе. Может быть, нужны еще и сейчас, — хотя я мало это чувствую, что до меня, не видя вообще решительно никакого смысла во всем, что совершается на Земле.

Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняжки есть табак и нить гильз. Она лукаво подмигивает мне и говорит: «Хотите?». При этом отрывает от старой газеты, лежащей на столе, бумажную ленточку и начинает изготавливать то, что называется сигаркой или же козьей ножкой. Я предоставляю ей художественно свернуть козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково удерживаю ее, и говорю: «Нет, сегодня не нужно. Я сегодня богат». Правда, у меня в кармане целых семь папирос, и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять.

Марина добрая и безрассудная. Она не хочет остаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет съесть.

Марина живет одна с своей семилетней девочкой Алей, которая видит ангелов, пишет мне письма, самые красивые из девических писем, какие я только получал когда либо в жизни, и пишет стихи, совершенно изумительные. Припоминаю сейчас одно, которое могло бы быть отмечено среди лучших японских троестрочий:

Корни сплелись,
Ветви сплелись.
Лес любви.

— Что нового, Марина?

— Да что же нового может случиться? Какие-то поляки у меня поселились. Очень вежливые. Говорят со мной по-французски и любезно сообщают, что у меня очень много интересных вещей в доме, которые, очевидно, мне не нужны. Добрые такие. Они освобождают дом от ненужных вещей.

Сегодня унесли и продали стенные часы. Говорят — мешают спать своим боем. Деньги за них не то потеряли, не то проиграли в карты по дороге.

Марина — героическая женщина. Уже более двух лет ее муж, с самого начала присоединившийся к Корнилову, потерялся где-то там, за фронтом, и она не знает даже, жив он или убит. Но спокойно-благоговейно она верит, что он жив, и ждет его, как невеста ждет жениха. Ее сердце знало верно. Она дождалась свиданья и соединилась с любимым.

— А у вас что нового?

— Все то же. Помрут мои птицы.

— Увезите, увезите их. Уезжайте отсюда.

— Как же уйдешь, Марина, из этого Ада, который держит? И что я буду делать, что мы стали бы делать там, в чужом мире? Как ни плохо здесь, Россия — мой дом. Я не мыслю себя вне Москвы.

— Вы вернетесь потом. Нужно спасти их.

Мне хочется сказать: «Почему же вы сами не бежите и не ищите своего Сергея». Но язык мой отказывается выговорить эти слова, и я начинаю бессвязно рассказывать Марине о павшей лошади, которую пожирают люди и собаки под карканье завидующих голодных ворон.

Я возвращаюсь домой, Аля идет со мною. «Я хочу навесить Миррочку». Метель стихла. В потеплевшем и успокоенном воздухе медленно падают и крутятся пушистые белые хлопья и целым дождем, но не влажным, отдельные звездочки снежинок.

Снежинки вьются и падают на ресницы. Але трудно смотреть. Ее маленькая ручка в моей руке. Она улыбается.

Вдруг она поднимает мою руку к своему лицу и прижимает ее к своим губам.

— Каждый раз, когда я вас вижу, — говорит она вполголоса, — я вижу высокого принца.

— Аля, отвечаю я, хотите выйти за меня замуж?

— Этого не может быть, говорит она.

— Почему?

— Я слишком маленькая.

— А когда вы вырастете?

— Этого не может быть, настаивает она загадочно.

— Но почему же?

Она не хочет говорить.

— Потому что я буду тогда слишком старей?

Аля смотрит застенчиво и лукаво.

— Нет, вы, пожалуй, тогда не захотите.

Мы улыбаемся друг другу очень доверчиво и ласково. Снежинки совсем опушили нас, и дома кругом стали красивые и сказочные.

— И потом, — добавляет Аля с большой серьезностью, — вы слишком мало меня знаете. Вы не знаете, какая я в домашнем быту.

Но мы уже пришли в мой Николо-Песковский переулок. Нас угостят сейчас теплой пшенной кашей и даже еще чем-то. Аля щебечет с Миррой, у них свой особенный язык, и много-много маленьких важных тайн, больше, чем бывает цветов в саду и птичек в лесу.

Почему, когда столько ласки и нежности в душах человеческих, столько слепой ярости и безумного уродства в человеческих делах? И почему опять за стенами дома завертелась бешеная вьюга, — закружились, угашая преждевременно этот короткий зимний день, слепящие белые пелены, белесоватые саваны незрячего снега, который идет, идет без конца?

Не хочу я сидеть дома. Каждый чужой дом лучше, если в душе неизбывная тоска. Я условился с Мариной встретиться вечером на Тверской в Кафе поэтов. Но до этого слишком долго ждать.

Я помню, я ушел в тот вьюжный день к переводчику «Песни песней» Эфросу. Мне нравилось время от времени бывать у него. Мне нравилось, что он никогда не говорил тех бесполезных слов о неизбежном, которые так любят говорить русские. Я выносил из каждой беседы с ним освежение, душевный отдых. Я брал у него также французские и итальянские книги по искусству. Их у него всегда было много.

Эфрос напоил меня чаем. Не показывая, что он видит тоску, которая меня истязала, — «лучшее внимание — невнимание», гласит древняя китайская поговорка, — он заговорил мое тоскованье умными словами, такими, которые становятся почти нужными оттого, что они вовремя и у места умны. Он, кроме того, прочел мне свой новый перевод «Плача Иеремии», а прочтя, пропел это волшебное произведение по древнееврейски.

Эта песня на красивом древнем языке, донесенном благоговейно через несказанно-трудные тысячелетия, эта песня-сказ души, эта песня-заговор и пророчество, сливаясь неуловимо с песней зимнего ветра в трубе, исцелила израненное сознание, и когда я шел по улице, простившись с гостеприимным, мое близкое и личное отошло от меня, но мне казался близким и живым ночной воздух белесоватой зимы, казались враждебными, но не страшными, громады темных домов.

Вот тогда-то, идя по темной Бронной и видя, что свет над Тверской красноват, как зарево далекого пожара, я встретился с той, кого не знаю, как назвать и как определить.

На улице не было ни одного прохожего. Никого, кроме меня. Я шел и казался самому себе привидением, идущим по древнему погосту, где когда-то протекла, как широкая полноводная река, замкнутая в цветущие и высокие берега, целая богатая жизнь, с мыслями, красками, песнями, достижениями, дерзаннями необманувшими, улыбками близкими, счастьем высоким и длительным, с верными, до сердца доходившими, угаданными. Протекла, истекла, разлилась, обмелела, иссякла, обнажила безводное дно, раскинула вправо и влево и повсюду песчаную равнину, безжизненное мертвое пространство. И только белое облако вверху, белое, как известка, и измятым комком, криво повисшим бельмом, белая Луна.

Вдруг, как из-под земли, как из воздуха, предстала предо мной эта странная женщина. Я не видел, чтобы она вышла откуда-нибудь, я с ней встретился лицом к лицу так сразу, как будто она стояла и ждала меня незримая, и стала видной, когда я подошел к ней вплоть.

— Дяденька, где мой дом? — спросила она меня, и я похолодел.

Она была одета, как крестьянка, которая собралась в дальний путь. На ней были валенки, длинный темный кафтан, похожий на монашеское одеяние. Голова была укутана в большой теплый платок, и я мгновенно вспомнил обмотки на зябнувших маленьких ногах, которые с хрустом ушли по снегу, и вспомнил, что некоторые убийцы укутывают в простыню голову убитого и что голова того, кому суждено быть повешенным, должна предварительно быть отъединенной от мира, скрытая слепым колпаком.

Я не знал, красиво или некрасиво это лицо, но я знал, что я не могу не смотреть на него и что оно молодое.

— Дяденька, где мой дом? — повторила она голосом, в котором была доверчивость и слышался упрек.

Она произносила все слова так мягко и неясвенно, как будто не все звуки она могла произносить; что-то младенческое было в этом говоре, точно это был ребенок, который еще не совсем овладел речью. И первое слово у нее выходило «дяинька».

Онемев от изумления и еще какого-то другого непонятного мне чувства, я невольно продолжал свой путь, а она, слегка потрагивая меня правой рукой и тотчас же ее отнимая, пошла совсем рядом и упорно повторяла свой вопрос.

— Я не знаю, — сказал я с беспричинным отчаянием.

— Ты знаешь, — сказала она, и в ее голосе была уверенность. — Ты знаешь, дяденька, он тут совсем близко. Покажи мне, где мой дом.

Ее лицо было странно, но совсем не безумно. И что было не странно в тот час и в том месте, в обезумленном жестоком городе, где кто-то кого-то убивал и кто-то кому-то улыбался, в этом белесоватом сумраке ночи, под измятым комком белой Луны?

Мы прошли мимо ряда домов. Никого кругом. Ищущая рука тихонько прикасалась к моей и убегала тотчас же. Мне казалось, что мы два лунатика и идем по закраине крыши высокого дома. Вот-вот мы сейчас сорвемся.

— Где мой дом? Где мой дом? — повторяла неведомая, и детская жалоба пробивалась через ее неясвенный говор, как через снег пробивается иногда слишком рано зазеленевшая былинка, которая через минуту замерзнет.

— Я не могу тебе помочь, — воскликнул я, схваченный тоской. — Я не знаю.

— Как тебе не стыдно, дяденька, — послышался упрекающий голос, и стыд и указание на пренебреженную ответственность были в этом женском голосе, вместе с совершенно детской доверчивостью.

И о чем-то сосредоточенно подумав, она добавила: «Ведь он не там, куда ты идешь».

Какой-то вихрь закрутился у меня в голове. К сердцу хлынула горячая волна, и мне стало жутко от того чудовищ-

ного желания, которое внезапно возникло во мне. Чудовищное ли? Не святое ли? Я не могу этого теперь определить. Около нас было много домов с открытыми воротами. Мне захотелось, — неотступно, — привести эту женщину на какой-нибудь двор, сесть с ней рядом на крыльцо и обнять ее. И обнять ее страстно. Самозабвенно.

В эту самую секунду из соседнего двора вышел какой-то человек. Было темно, и я не видал, кто бы это мог быть. Но знала ли она его или не знала, — только немедля, так же, как сразу она подошла ко мне вплоть, сразу, точно меня не было больше на свете, она, отвернувшись от меня, с доверчивостью подбежала к этому человеку и начала что-то быстро говорить ему. Ее говор, неясственный, когда она говорила, идя рядом со мной, на расстоянии этих нескольких шагов стал для меня совершенно невнятным. Вышедший человек, показавшийся мне стариком, тихонько потрепал ее рукой по плечу, и они оба исчезли в темном дворе.

Я постоял с минуту. Я чего-то еще ждал. Все было тихо. Я пошел вперед.

Да, я пришел в Кафе поэтов. Но, увидев меня, Марина всплеснула руками и воскликнула: «Братик, что с вами?»

Я рассказал ей подробно о встрече. Лицо Марины сделалось торжественным, а глаза ее стали как-будто смотреть внутрь самих себя.

— Братик, — сказала она, беря меня за руку. — Она должна была к вам придти. Должна. Ведь это же к вам приходила — Россия.